

ISSN 0131-677X

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

СОВЕТСКАЯ  
**ТЮРКОЛОГИЯ**

La Turcologie soviétique  
Soviet Turkology  
Sowjetische Türkologie



3

БАКУ • 1989

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

---

# С О В Е Т С К А Я ТЮРКОЛОГИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1970 ГОДУ

*Выходит 6 раз в год*

№ 3

*МАЙ — ИЮНЬ*

БАКУ — 1989

ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR  
ACADEMY OF SCIENCES OF THE AZERBAIJAN SSR

---

СОВЕТСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ  
LA TURCOLOGIE SOVIETIQUE  
SOVIET TURKOLOGY  
SOWJETISCHE TÜRKOLOGIE

Редакционная коллегия: главный редактор Э. Р. Тенишев (Москва), зам. главного редактора С. Н. Иванов (Ленинград), первый зам. главного редактора А. М. Мамедов (Баку), зам. главного редактора К. М. Мусаев (Москва), И. Х. Ахматов (Нальчик), А. А. Ахундов (Баку), Р. В. Бердибаев (Алма-Ата), Г. Ф. Благова (Москва), Н. З. Гаджиева (Москва), Э. А. Грунина (Москва), Е. З. Кажибеков (Алма-Ата), И. В. Кормушин (Москва), Л. С. Левитская (Москва), Т. Д. Меликов (Москва), Б. А. Набиев (Баку), Б. А. Назаров (Ташкент), Е. А. Поцелуевский (Москва), К. К. Султанов (Москва), З. Г. Ураксин (Уфа), А. А. Чеченов (Москва), А. М. Щербак (Ленинград).

Ответственный секретарь  
Н. Г. Наджафов

«Советская тюркология», 370143, Баку, пр. Нариманова, 31. Академгородок. Тел.: 39-24-57, 39-22-86.

Editorial board: editor-in-chief E. R. Tenishev (Moscow), assistant editor S. N. Ivanov (Leningrad), the first assistant editor A. M. Mamedov (Baku), assistant editor K. M. Musayev (Moscow), I. H. Akhmatov (Nalchik), A. A. Akhundov (Baku), R. V. Berdibayev (Alma-Ata), G. F. Blagova (Moscow), N. Z. Gadzhiyeva (Moscow), E. A. Grunina (Moscow), E. Z. Kazhibekov (Alma-Ata), I. V. Kormushin (Moscow), L. S. Levitskaya (Moscow), T. D. Melikov (Moscow), B. A. Nabiyev (Baku), B. A. Nazarov (Tashkent), J. A. Potseiyevsky (Moscow), K. K. Sultanov (Moscow), Z. G. Uraksin (Ufa), A. A. Chechenov (Moscow), A. M. Scherbak (Leningrad).

Executive secretary  
N. G. Nadzhafov

«Sovjetskaja tjurkologija», Akademija nauk  
Azerbajdžanskoj SSR,  
370143, Baku, prosp. Narimanova, 31.  
Tel.: 39-24-57, 39-22-86.

*The journal is published 6 times a year. Subscriptions should be sent to «Mezhdunarodnaya Kniga» (Moscow Г-200). Annual subscription 6 roubles 60 kopeks.*

**ФОЛЬКЛОР. ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА**

З. Г. ОСМАНОВА

**О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЛИТЕРАТУР НОВОГО ТИПА В ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ РОССИИ  
(1890—1917)**

## I

Период истории, которому посвящена статья, охватывает предоктябрьское двадцатилетие. По насыщенности событиями, по влиянию этих событий на всю последующую мировую историю, и в особенности на историю народов Азии, он не имеет себе равных. Ясно поэтому, сколь важен тщательный и непредвзятый анализ особенностей литературного и общественного процесса в это переломное время, анализ, предполагающий совокупные исследовательские усилия и четкое осознание теоретико-методологических трудностей. Задача же данной статьи видится автору в том, чтобы выявить основные идейно-эстетические тенденции рассматриваемого периода, сделав при этом особый акцент на тех факторах и явлениях, которые в пределах периода, а главное — в масштабах будущей художественной эволюции консолидировали творческие искания передовых деятелей литературы и культуры народов бывших колониальных окраин, способствовали выработке у них марксистского, интернационалистского мировоззрения.

## II

В свете ленинского наследия можно определить некоторые основные черты, характеризующие возникновение в России литератур нового типа, в особенности у народов, вступавших в общероссийское национально-освободительное и революционное движение во второй половине XIX в., а в некоторых случаях в конце века и даже в начале XX столетия. Но прежде всего необходимо иметь в виду, что картина литературной жизни в России той эпохи складывалась из очень сложных, противоречивых и неоднозначных явлений. Российское государство было не только многонациональным. Оно включало в себя области, края, целые регионы, весьма несходные по своему социально-экономическому и культурному развитию, и соответственно располагало разными типами художественного сознания: от фольклорного до высоко развитого литературного. Писатели, деятели культуры наследовали разные художественные традиции, опирались на различные идейно-эстетические и этические критерии и нравственные нормы. Во многих районах (краях, областях) с преобладающим мусульманским населением интегрирующую роль играл, как известно, ислам. Процессы национальной консолидации, активно развивавшиеся после присоединения Средней Азии к России или добровольного вхождения в ее состав отдельных родоплеменных союзов и объединений, не были завершены и к началу XX в. [1. С. 92—93]. Это произойдет позднее, после победы Октября и формирования социалистических наций и народностей. С этим обстоятельством не в последнюю очередь были связаны и харак-

тер общественных отношений, и особенности контактов между народами и деятелями их культур, и процессы перехода от этнического самосознания к национальному — т. е. процессы, непосредственно влияющие на культуру и литературу той или иной нации и народности. Однако следует иметь в виду и то, что власти империи проводили политику откровенно шовиннистическую, великодержавную, что выражалось и в насильственной русификации, и в стремлении узаконить как экономическое и политическое, так и культурное неравенство народов. Вот почему одна из особенностей революционной ситуации в России, приобретающая характер *исторически обусловленной закономерности*, заключалась в необходимости преодолеть неравномерность развития, придать ему ускорение и содействовать тем самым *объединительным тенденциям*, которые бы покончили с родоплеменной и феодально-патриархальной замкнутостью, национальным герметизмом, духовной обособленностью, порожденными не только социально-экономическими причинами, но и всей политикой самодержавия в области национальных отношений. Результаты этой политики не только отрицательно сказывались на отношениях между русским народом и другими народами России, но и задевали взаимоотношения, допустим, киргизов (казахов) и татар. Примеры легко умножить.

Казахский просветитель Ибрай Алтынсарин, жизнь и творчество которого (он умер в 1889 г.) пришлось на время, непосредственно предшествующее революционно-демократическому этапу в истории казахского просветительства, писал в предисловии к своей «Киргизской хрестоматии» (1879): «Несуществование в киргизском народе грамотности и неимение до сих пор ни одной книги на киргизском языке побуждали преподавателей учебных заведений для киргизских детей заменять киргизский язык татарским, и, таким образом, без всякой видимой цели ученикам приходилось поневоле привыкать к татарскому языку, игнорируя тем свое родное наречие, ни в чем не уступающее татарскому...». Пробуждающееся национальное самосознание требовало очень тонкого и гибкого подхода. Алтынсарин, в частности, опасался, как бы его народ, «очень любознательный и восприимчивый», не был поглощен соседними [2. С. 73, 280—281]. Но в подобных опасениях проскальзывала и известная ограниченность мировоззрения казахского просветителя, невольно приписывавшего отдельным тюркским народам экспансионистские тенденции клерикалов, поддерживаемых царскими чиновниками, о чем свидетельствуют, например, наблюдения и материалы, содержащиеся в книге чиновника конца прошлого века А. В. Васильева [3].

Осознание наболевших социально-исторических проблем и необходимости их скорейшего разрешения, а также консолидации трудовых масс вокруг передовых идей эпохи выступает как типологически общая особенность литератур разных народов России; звучат эти мотивы и в устно-поэтическом творчестве.

Ускорителем этого процесса послужила и сама историческая обстановка в России, переместившаяся в конце XIX в. в центр мирового революционного движения. Отсюда и решительная ломка границ и перегородок между народами и культурами, и поляризация национальных и классовых интересов *в общероссийском масштабе*. Но не только в общероссийском. Как известно, первая русская революция существенно повлияла на национально-освободительные движения народов колониального Востока, радикализовала сознание многомиллионных масс угнетенных. Именно в это время многие передовые деятели национальных культур и литератур начинают все более отчетливо осознавать

общие цели своих народов в борьбе с самодержавием и новые задачи, продиктованные наступившей эрой империализма. Обострение кризисных явлений в общественном устройстве этих народов способствовало развитию национального самосознания, а также более глубокому пониманию соотношения национальных идеалов с социальными. Ускорение же процесса разложения патриархально-феодальных отношений происходило благодаря «втягиванию Кавказа и Средней Азии в мировое товарное обращение», которое «нивелировало его местные особенности — остаток старинной патриархальной замкнутости» [4. С. 35]. Принципиально новая общественно-политическая и экономическая ситуация приводит и к значительно более острому осознанию литературами своих национальных корней и традиций, в том числе фольклорных; общих традиций близкородственных культур (в ряде случаев это общетюркское и общеиранское наследие); опыта русской и других литератур, обогащенных революционно-демократическими идеями (например, татарской и башкирской, литератур адыгских народов, карачаевской и балкарской, литератур коми и народов Поволжья, осетинской и дагестанских и т. д.). На этой основе развиваются уже более зрелые художественные традиции, притом *осознанно национальные*.

В этот же период в творчестве как представителей письменных литератур различных народов России, так и создателей устной народной словесности возникает или получает свое развитие идея регионально-национальной общности, в той или иной степени соотносящаяся с идеей общности общероссийской. Процессы же этнической консолидации, так же как и органически связанные с ними процессы развития национального самосознания, обретают многомерность, ибо опираются на всерасширяющиеся контакты народов друг с другом, на все более обширную сферу как историко-культурных, так и художественно-литературных взаимосвязей [5; 6]. А вся национальная политика партии большевиков не только выступала *гарантом самостоятельного развития* народов и национальных культур, но и всемерно поддерживала все мало-мальски существенные явления, факты и факторы, способствовавшие процессам *интернационализации* духовной культуры.

### III

Другая закономерность связана как с активизацией связей между отдельными близкородственными национальными литературами, так и с усилением влияния русской литературы (творчество А. Пушкина, М. Лермонтова, Л. Толстого, Н. Некрасова, А. Чехова, В. Короленко) и революционно-демократической мысли (В. Белинский, А. Герцен, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов) на художественные искания писателей, постепенно осознающих роль своих национальных литератур в общероссийском литературном процессе.

Историк Х. Вахидов придает важное значение тому внешне как будто частному факту, что в 1899 г. в составе экспедиции по обследованию трассы Закаспийской железной дороги Среднюю Азию посетил сын Н. Г. Чернышевского — М. Н. Чернышевский, который оставил путевые записки под названием «Через Усть-Юрт в Среднюю Азию» [7]. А первым в Средней Азии произведением, которое знакомило читателей с жизнью, деятельностью и идеями великого русского революционного демократа, была книга «Н. Г. Чернышевский» (Ашхабад, 1904), написанная К. М. Федоровым — секретарем Н. Г. Чернышевского в годы жизни последнего в Астрахани и Саратове, а в дальнейшем — редактором ашхабадской газеты «Закаспийское обозрение» (с 1894 по 1912 г.).

Заслуживает более обстоятельного освещения многогранная и весьма влиятельная деятельность писателей и просветителей народов Закавказья, Поволжья, татар, башкир по развитию просветительской и революционно-демократической мысли народов Дагестана, Средней Азии и Казахстана. «Татарское просветительство, — утверждают, например, исследователи раннего периода гворчества С. Айни (Р. Хошим и Р. Фиш), — стало дрожжами, на которых возшло национальное самосознание народов Средней Азии» [8. С. 119]. Дагестанский исследователь С. Х. Акбиев подчеркивает, что судьба и творчество целой плеяды кумыкских просветителей — творцов демократической литературы и культуры — Д.-М. Шихалиева (1811—1880), М. Э. Османова (1839—1904), отца и сына Батырмурзаевых — Нухая (1864—1919) и Зейнал-абида (1879—1942), С.-С. Казбекова (1887—1919) и других «в той или иной степени были связаны с деятельностью как русских (Чернышевского, Герцена, Некрасова, Салтыкова-Щедрина), так и татарских просветителей и революционеров-демократов: Х. Файзханова, Ф. Амирхана, Г. Тукая, Г. Камала, М.-Н. Вахитова, Г. Ибрагимова ...» [8а. С. 65].

Большая роль в популяризации русской классики принадлежала, как известно, Абаю Кунанбаеву. Его собственное творчество (как и творчество его продолжателей) позволяет сделать вывод о том, что в региональном масштабе происходила знаменательная переориентация с классических восточных образцов на русские и европейские, что свидетельствовало не столько о недостаточности в новых условиях богатой восточной традиции, сколько в гораздо большей степени — о необходимости качественно нового культурного синтеза. Хотелось бы отметить в этой связи аргументированный разбор узбекским поэтом Хамидом Исмайловым творчества Чулпана (1893—1937), рассмотренного в широком западно-восточном литературном контексте. «Поэтические поиски Чулпана, — подчеркивает Х. Исмайлов, — лежали большей частью в русле романтико-символистских исканий русских поэтов и во многом противостояли исторической традиции восточной поэтики с ее предельно канонизированными формами.

Однако из этого вовсе не следует, что творчество Чулпана внационально или космополитично и целиком противостоит восточной поэтической традиции. Вернее будет сказать, что оно диалектически отрицает предшествующую традицию, развивая, обогащая ее» [9. С. 224; 10].

Необходимы накопление и внимательный анализ всех сколь угодно интересных историко-литературных фактов, которые проливают свет на напряженную, полную драматической борьбы и противоречий обстановку, складывавшуюся в районах, отдаленных от центра революционных событий, и, несомненно, революционизировавшую сознание местного населения. Так, стал достоянием исследователей факт создания в Ташкенте в 1901 г. Пушкинского общества, которое в рапорте полицейского чиновника от 16 января 1906 г., адресованном Туркестанскому генерал-губернатору, получило такую выразительную характеристику: «Вместо Пушкинского образовательного Общества получилось Общество социал-демократическое и революционное» [11. С. 279, 282; 12].

В условиях усиления взаимосвязей между народами России, упрощения позиций пролетариата и революционно-демократической идеологии, в условиях все более резкого и решительного размежевания внутри просветительского направления общественной мысли русский язык становится для многих писателей-публицистов и журналистов языком не только межнационального общения, но и языком творчества, просве-

щения, все более тесной связи с широкими кругами российской социал-демократии.

Вот почему, анализируя этот период, очень важно показать, как шли навстречу друг другу волны революционной мысли и действия из России, схлестываясь с нарастающей волной революционного движения на ее окраинах.

Мы должны яснее осознать тот, например, факт, что основоположник осетинской литературы поэт и публицист Коста Хетагуров, сформировавшийся во многом под влиянием гражданской лирики Лермонтова, Некрасова, идей русской революционной демократии, уже застал эпоху, ознаменовавшуюся выдвижением на авансцену истории российских социал-демократов, большевиков. Хетагуров в своих статьях 90-х гг. и начала века подвергал резкой критике политику самодержавия, вступал в яростную полемику с петербургскими журналистами — буржуазными либералами — по поводу насущнейших проблем бытия народов Кавказа. С горечью писал он о пропущенных через официальную призму сообщениях с Кавказа о том, что якобы «во всей сумятице, бесспорно совершающейся теперь на Кавказе, виновны единственно и исключительно полудикие, недисциплинированные туземные племена, упорно противостоящие приобщению их к всероссийской цивилизации»... [15. С. 101]. Братья А. и И. Мутушевы, Т. Эльдарханов, Д. Шерипов, позже герой гражданской войны А. Шерипов и другие так же, как и в свое время К. Хетагуров (он умер в 1906 г., в тот год, когда Б. Тургановым с русского на осетинский был впервые переведен «Манифест Коммунистической партии»), выступали не только с позиций интересов чеченцев и ингушей, но и всех народов Северного Кавказа [16].

Размышляя о сложных путях влияния русской литературы, русской культуры и общественной мысли (ее революционно-демократического и марксистского крыла) в этот период, нельзя забывать о сравнительно низком уровне образования в целом по стране — и в центре ее и в особенности на ее национальных окраинах. Обстоятельство, которое подчеркивал В. И. Ленин, отметив, что и Толстой-художник еще в десятые годы был известен ничтожному меньшинству в России. Тем не менее творчество Максима Горького обрело чрезвычайно широкую популярность у читателей многонациональной России, и это объяснялось, вероятно, не только новыми горизонтами познания революционной действительности, которое оно открывало, но и тем, что произведения Горького выполняли важнейшую миссию сближения разноразных культур. И неслучайно, что именно Горький наряду с Лермонтовым становится любимым писателем чеченского революционера Аслан-бека Шерипова (1897—1919), поэта и публициста, юноши, возмужавшего в годы гражданской войны и сложившего голову в бою.

Именно М. Горькому, наблюдавшему в 1898 г. религиозные шествия в Тифлисе, принадлежат слова, осуждающие «фанатизм, экстаз, иступление...». Он мечтал о том, чтобы направить душевные и физические силы человека «не на работу разрушения, а на созидание жизни, на творчество новых форм ее» [17. С. 277].

Мысль о созидании новых форм жизни — и социальных, и духовных — не только определяла направленность горьковского творчества, но и активно содействовала рождению и формированию нового художественного метода, выражавшего устремления революционно настроенных литераторов. И в этом процессе важная роль принадлежала рабочей печати.

## IV

В. И. Ленин, как известно, связывал развитие рабочей печати с общим ростом сознательности и организованности рабочего класса, со всей историей демократического и социалистического движения. «Перед лицом первой русской революции каждый орган печати вынужден был политически самоопределиться» [18. С. 7]. Делу консолидации сил революционной литературы способствовали выступления на страницах демократической и партийной печати («Искра», «Вперед», «Пролетарий») видных критиков-марксистов — А. Луначарского, В. Воровского, М. Ольминского и других, раскрывавших суть и смысл общеполитической и литературной борьбы в России и утверждавших принципы новой революционной литературы.

Характерно, что центры рабочего движения становились и центрами национальной рабочей печати. В Петербурге, например, на русском языке под редакцией революционера-ленинца дагестанца С. Габиева (лакца по рождению) начали выходить газеты «Заря Дагестана» и «Мусульманская газета» (1912—1914), пользовавшиеся успехом не только у трудящихся Северного Кавказа. Общеизвестна роль Дж. Мамедкулизаде и его сатирического журнала «Молла Насреддин» (Баку), находившего читателей как в Азербайджане, так и по другую сторону Каспийского моря — в Туркестанском крае и снискавшего большую популярность также в странах зарубежного Востока. «Прогрессивные интеллигенты Туркестана не только читали эти журналы, но и сами печатались на их страницах. Так, на страницах «Моллы Насреддина» были опубликованы стихи узбекских поэтов из Андижана, Хивы, Самарканды» [11. С. 283].

В период первой русской революции и позже на татарском и русском языках выходили газеты в Казани («Утренняя звезда»), Оренбурге («Ястреб», «Урал»), Уральске («Мысль»). Газета «Урал», например, редактировавшаяся видным революционером-ленинцем Хусаином Ямашевым, оставила яркий след в истории революционной публицистики народов Поволжья, Приуралья, Казахстана, Средней Азии. Под руководством Я. М. Свердлова, прибывшего в Казань по заданию ЦК РСДРП, была создана и с июля 1905 г. начала выходить русская газета «Рабочий», положившая начало большевистской печати в Казани [19. С. 5; 20]. В этих газетах в разное время сотрудничали такие писатели, как Габдулла Тукай, Галиаскар Камал, Галимджан Ибрагимов, Мажит Гафури, Фатех Амирхан, с именами и деятельностью которых связано качественное обновление татарской и башкирской литератур, укрепление их взаимосвязей, а также ускоренный процесс национального самоопределения башкирской народности и башкирской литературы.

Одним из центров революционной России был и город Владикавказ. Известно, что в 1906 г. там начала выходить (хотя издание продолжалось всего несколько месяцев) первая на осетинском языке газета «Ирон газет». Значительной была роль русской газеты «Терек», с которой начиная с 1909 г. была связана революционно-публицистическая и просветительская работа С. М. Кирова. Рядом с ним, проходя школу действенного большевистского слова, в разное время работали Бетал Калмыков (Кабарда), Дзахо Гатуев, Сека Гадиев, Арсен Коцоев (Осетия), Асланбек Шерипов (Чечено-Ингушетия) и др.

Если мы обратимся непосредственно к работам С. М. Кирова тех лет, то убедимся в непреходящем значении его деятельности по консолидации народов на интернационалистской основе. Так, в докладе на Народном съезде Терской области в Моздоке в феврале 1918 г. С. М. Ки-

ров указывал на реальную опасность, грозящую со стороны разноплеменных представителей контрреволюции: «Они с нетерпением ждут момента, когда разные народности кинутся друг на друга» [21. С. 13]. Менее чем через месяц в Пятигорске на второй сессии Народного съезда Терской области он подчеркивал: «И если мы безжалостно хотим отбросить все контрреволюционные силы, то мы должны вновь подтвердить наше единение, нашу братскую общность, революционность плюс, я бы сказал, священный союз. Мы должны сказать, что не только красота скрывается в горах Кавказа, но что эта цепь гордых скал является той могучей преградой, о которую разобьются все силы реакции, что в диких горных ущельях слышен не только вой ветра, но там слышна и революционная песня затаенных надежд истинных сынов демократии» [21. С. 31].

И еще одно обстоятельство — следствие неравномерности развития: нужно иметь в виду, что у ряда народов, например, у бурят, политическая и просветительская по своему содержанию публицистика предшествовала появлению собственно национальной художественной литературы [22. С. 271—273].

В целом можно сказать, что пропагандируя политику большевистской партии в области национальных отношений, революционная печать России стимулировала процессы развития и становления литератур нового типа, способствовала появлению писателей-интернационалистов.

## V

Характеризуя этот период с точки зрения становления национальных литератур нового типа, нельзя упустить из виду важную мысль В. И. Ленина о сложности и противоречивости эпохи. В 1914 г. В. И. Ленин писал: «От бурной эпохи 1905 года нас отделяет менее десяти лет, а между тем перемена, которая произошла за это короткое время в России, кажется громадной. Россия как будто сразу превратилась из патриархальной в современную капиталистическую страну...

Разумеется, „внезапное“ превращение России в буржуазную страну возможно было в течение пяти или десяти лет XX века только потому, что вся вторая половина прошлого века была одним из этапов смены крепостнических порядков буржуазными...» [23. С. 33].

Но смена социально-экономических укладов в масштабах всей России характеризовалась не одной лишь этой линией. Были народы, пришедшие к социализму и минуя этап капиталистического, буржуазного развития. Зарождение демократических и социалистических элементов в культуре, в общественной мысли, в литературе и даже в устно-поэтическом творчестве ряда народов Средней Азии, Северного Кавказа, Сибири, Забайкалья (Батырай, Г. Цадаса, С. Стальский, К. Мечиев, Цуг Теучеж и другие) поэтому происходило в условиях ломки и распада феодально-патриархальных устоев.

Своеобразие и сложность социально-экономических и политических обстоятельств своим закономерным следствием имели и обостренные идеологической борьбы. С этим связана, на наш взгляд, и дальнейшая политическая и эстетическая дифференциация среднеазиатского просветительства, складывающегося к середине XIX столетия. В начале XX в. в Туркестанском крае, в Кокандском и Хивинском ханствах, в Бухарском эмирате получила распространение идеология джадидизма, сформировавшаяся внутри просветительно-демократического направления общественной мысли и воспринявшая его прогрессивные стороны, однако в силу буржуазного реформизма его идеологов в конечном

итоге оказавшаяся в оппозиции коренным революционным преобразованиям.

В 1908 г. В. И. Ленин подчеркивал, что громадный шаг вперед международного социализма, «наряду с обострением революционно-демократической борьбы в Азии, ставит русскую революцию в особенные и особенно трудные условия. У русской революции есть великий международный союзник и в Европе, и в Азии, но вместе с тем и *именно вследствие этого* у нее есть не только национальный, не только российский, но и *международный* враг. Реакция против усиливающейся борьбы пролетариата неизбежна во всех капиталистических странах, и эта реакция сплачивает буржуазные правительства всего мира против всякого народного движения, против всякой революции и в Азии, и особенно в Европе» [24. С. 182].

Отправляясь от ленинских оценок, следует уточнить и характеристику джадидизма. Джадидизм, перешедший после поражения первой русской революции на реформистские и консервативные позиции, может быть интерпретирован в связи с общим обострением противоречий в революционном движении и приобретением российской социал-демократией не только мощных союзников в лице угнетенных народов колоний, но и сильных врагов как внутри страны, так и за ее рубежами. В своих работах конца XIX в. и в написанных в последующие годы и посвященных анализу развития капитализма в России В. И. Ленин почти всегда сопоставлял процессы, протекавшие, скажем, на Кавказе, с теми, что происходили в Средней Азии. В 1899 г. он писал: «Юг и Юго-Восток Европейской России, Кавказ, Средняя Азия, Сибирь служат как бы колониями русского капитализма и обеспечивают ему громадное развитие не только вглубь, но ивширь» [25. С. 86].

Содержащийся в трудах В. И. Ленина анализ положения широких масс крестьянства в России, неравномерности образования рабочего класса на огромных пространствах империи (в Туркестане, например, в то время пролетариат составлял всего один процент населения), всей остроты национального вопроса помогает не только понять причины национально-освободительного движения 1916 г., охватившего всю Среднюю Азию и Казахстан, но и поставить вопрос о том, как участие в этом восстании, жестоко подавленном властями, помогало трудовому люду осознавать общие цели русских и нерусских народностей в борьбе с самодержавием, способствовало формированию у них как национального самосознания, так и сознания интернационалистского.

Один из героев восстания, руководитель казахстанских повстанцев Амангельды Иманов, убитый алашордынцами в 1919 г., оставил яркий документ — свидетельство напряженной борьбы тех лет. В письме большевику Алибию Джангельдину, своему другу и земляку, он писал: «Мобилизацию сорвем, джигитов не дадим, объединенными силами пойдем войной против царской власти... Возьмем же свои боевые знамена и пойдем войной вместе с русскими против нашего общего врага — царской власти. Настал день испытания...» [26. С. 632]. Речь в этом письме шла о царском указе от 25 июня 1916 г. «О ревизии (т. е. мобилизации) местного коренного населения края на тыловые работы», который явился непосредственным поводом к восстанию широких народных масс, требовавших его отмены. Восстание началось 4-го июля 1916 г. демонстрацией в Ходженте (ныне — Ленинабад). Особенно упорными были выступления в Тургайской области (более 50 тысяч участников!), которыми и руководил А. Иманов.

На руку царским властям играло мусульманское духовенство, которому кое-где удавалось склонить дехкан именем Пророка и Корана

к повиновению [27. С. 136]. Соглашательскую политику проводили в то время и среднеазиатские джадиды. «Они заполняли страницы узбекской прессы демагогическими, холопски восторженными статьями, пропагандирующими набор, прославляющими царя и его ставленника Куропаткина, изображали байские и буржуазные элементы в виде защитников народа... как и всякая буржуазная партия, джадиды воспевали оборончество, что помогало отвлекать внимание масс от „внутреннего врага“, т. е. эксплуататоров, и направлять его на „внешнего врага“ — Германию...» [27. С. 137].

В. И. Ленин в 1913 г. указывал: «Мировой капитализм и русское движение 1905 года окончательно разбудили Азию. Сотни миллионов одичавшего в средневековом застое населения проснулось к новой жизни, к борьбе за азбучные права человека, за демократию...» [28. С. 146].

Пробуждение Азии, ярким свидетельством которого было и народное восстание 1916 г., означало, по В. И. Ленину, вместе с началом борьбы за власть передового пролетариата Европы и *новую полосу всемирной истории* [28. С. 146], а вместе с тем и новый этап в истории национальных культур. Партия большевиков ставила перед собой задачу обеспечить полное равноправие для всех наций и народностей. Эта направленность партийной мысли нашла свое выражение в Декларации прав народов России, принятой 2 ноября 1917 г. и обращенной в том числе к мусульманам России, к татарам Поволжья и Крыма, к киргизам и сартам Сибири и Туркестана, к туркам и татарам Закавказья, к чеченцам и горцам Кавказа, ко всем тем, чьи «мечети и молельни разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями России!» [29. С. 113—115].

Возвращаясь же к нашей теме, отметим, что джадидизм до сих пор не получил в научной литературе серьезного и объективного истолкования — ни в своей теоретической — программной части, ни в качестве реальной идеологической и художественной практики. Оценки преобладают либо восторженно-апологетические, либо, напротив того, резко отрицательные, вульгарно-социологические, не учитывающие всех сложностей и противоречий формирования зрелого революционного мышления в конкретной исторической ситуации. Уклончивую позицию, далекую от современных подходов к оценкам сложных явлений национальной истории, заняли, например, в отношении джадидизма авторы недавней «Истории узбекской советской литературы» [30. С. 66]. Между тем непредвзятое изучение этого движения дало бы возможность глубже разобраться во многих явлениях литературного процесса в республиках Средней Азии и за ее пределами в послеоктябрьские десятилетия, высветить непростую диалектику национального и интернационального, прослеживающуюся на этапе становления советской культуры.

Некоторые исследователи сосредоточились на критике националистических концепций джадидов, не учитывая того, что в разные периоды истории идеи эти наполнялись различным социально-политическим содержанием. Тем более это касается художественной практики писателей, примыкавших к движению в тот или иной период своей деятельности и далеко не во всем разделявших политическую программу его идеологов. Чтобы картина, наконец, прояснилась, нужно полное критическое издание наследия Фитрата, Чолпана, Бехбуди, Шакерима Кудайбердыева, Молдо Клыча и других писателей, публицистов, драматургов, акынов, поэтов, творчество которых нам известно все еще недостаточно, нередко заслонено догматическими, конъюнктурными истолкованиями. Тем более обострилась потребность в правдивом знании

сейчас, когда происходит постепенная ликвидация белых пятен в истории народов, населяющих нашу страну, и многое предстает совсем в ином свете, нежели ранее, на протяжении целых десятилетий.

## VI

Мощное формирующее влияние революционной эпохи испытал на себе новый художественный метод — метод социалистического реализма. В одних литературах (русской, грузинской, армянской, украинской) творцы этого метода противостояли модернистским, декадентским, натуралистическим концепциям в литературе и искусстве. В других литературах, где этот метод не был еще теоретически осмыслен и воплощен в полноценной художественной практике, но существовал как бы в виде отдельных элементов, генетически связанных с просветительским и критическим реализмом, писатели боролись с не менее влиятельными противниками. Ими были и мусульманская ортодоксия, и цепкая власть феодально-патриархальных отношений, кризис которых на фоне проникновения капитализма усугублял эксплуатацию народа. Нужно учесть также и элементарную, азбучную неграмотность подавляющего большинства населения.

Э. А. Каримов, ссылаясь на труды Файзуллы Ходжаева, пишет об отражении в узбекской литературе поворота с «пути культурничества» на путь политической борьбы. «С 1909 по 1915 год появились книги, содержавшие жесточайшую критику существующего строя, безжалостно вскрывавшие все многочисленные недостатки, разоблачавшие гнилую систему эмирата». Автор имеет в виду произведение Фитрата «Индийский путешественник», сборники стихов тех лет, несколько пьес [31. С. 94] и другие сочинения.

1916 год стал переломным в творчестве Абдуллы Авлони, Шавката Искандери, Тавалло и Мирмухсина Шермухаммедова, Хамзы и Абдуллы Кадыри, Абдурауфа Фиграта, Садриддина Айни — писателей просветительно-демократического направления [31. С. 171; 32].

Разумеется, процессы, о которых мы ведем речь, протекали неоднородно и, учитывая сложный и многоукладный характер страны, отличались чрезвычайной неоднородностью. Так, многие народы получили письменность только после Октября, и, следовательно, зарождение и развитие художественной литературы у них пришлось уже на другую эпоху. Очевидно, что пристальный учет национальной, исторической специфики здесь неотделим от поиска генеральных закономерностей, которые и воплощаются в особенном и конкретном. Искусственное приведение разнокачественных явлений к единому шаблону способно лишь скомпрометировать любое теоретическое построение.

Тем не менее общие черты и тенденции при внимательном взгляде на литературную карту, безусловно, обнаруживаются.

Прежде всего отметим появление новых литературных героев, причем не только в произведениях отчетливой социалистической направленности, но и в тех, авторы которых в первую очередь акцентировали свое внимание на общедемократических задачах, преодолении национальной ограниченности, а с точки зрения собственно художественной типологии были близки романтизму. Этими героями становятся рабочий-пролетарий, представители революционно настроенной интеллигенции, большевики-ленинцы, крестьянские вожаки. Таких героев мы встречаем в творчестве М. Горького, А. Серафимовича, в произведениях Л. Украинки, И. Франко, М. Коцюбинского, А. Акопяна, Я. Райниса, М. А. Сабира, Н. Нариманова, К. Хетагурова, Ц. Гадиева, Г. Тукая, Г. Камала, М. Га-

фури, Хамзы, Хуршида, А. Авлони и многих других писателей, в том числе и творцов фольклора. Даже в литературах, делавших лишь первые шаги по пути реализма, как знамение нового, мы уже видим образы рабочих, осознающих свои классовые интересы и вступающих в активную борьбу с насилием и угнетением. Можно привести такие красноречивые, на наш взгляд, примеры, как творчество даргинского поэта-отходника, рабочего бакинских нефтепромыслов Азиза Иминагаева или лезгинских поэтов Сулеймана Стальского и Гаджи Ахтынского и основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. Новый герой — важнейшее завоевание, важнейшая черта литературы нового типа, характеризующая ее генеральное направление, ее идейно-эстетические идеалы, ее возрастающее воспитательное значение.

Происходят и знаменательные процессы обновления старых и возникновения новых литературных жанров. Это также одна из важных общих закономерностей литературного развития, хотя, подчеркнем еще раз, в различных литературах эта закономерность проявляется с разной интенсивностью, в соответствии с традициями и профессиональным уровнем, достигнутым к данному времени. На первый план, как уже отмечалось, выдвигается публицистика. Во многих литературах появляется профессиональная реалистическая драматургия (нередко в рукописной форме), которая порой предшествует возникновению в них крупных повествовательных форм (пьесы С. Габиева и Г. Саидова в Дагестане, Ф. Амирхана и Г. Камала в Татарии, К. Хетагурова, Е. Бритаева и В. Гуржибекова в Осетии, И. Барлукова в Прибайкалье, Ч.-Л. Базарона в Забайкалье и других); особую роль для всего среднеазиатского региона сыграла драматургия Хамзы Хакимзаде Ниязи, появившаяся ранее его романа «Новая жизнь». Нередко драматизированные представления, в основе которых лежал либо рукописный текст либо устная импровизация, были заряжены духом антиклерикализма. Так, в Чечено-Ингушетии «возникает движение тюлликеров, или театрализованные антиклерикальные представления... Эти формы народного творчества заложили основы будущей национальной драматургии и театра» [33. С. 141; 34].

Свидетельством определенных изменений в художественном сознании писателей этого времени является упрочение позиций романа, который, отвечая общественной потребности, начинает прокладывать себе дорогу в ряде литератур. Так, широкую известность получает роман татарского писателя Галимджана Ибрагимова «Наши дни» (1912), оказавший большое влияние на многие тюркоязычные литературы России и глубиной анализа социальных явлений и выдвижением на первый план героя-революционера, борющегося за народные интересы. «Роман Г. Ибрагимова „Наши дни“, — пишет М. Гайнуллин, — книга о первой русской революции, о том, как разворачивались события тех лет в Казани. Но только ли об этом хотел сказать писатель, поведав о судьбе Булата и Гарая, Нины и Нафисэ, Джихангира и Гэухар и многих других героев своего произведения? Содержание романа значительно шире: писатель рассказывает о борьбе многонациональной России за ее освобождение» [35. С. 225]. Почти одновременно в Казахстане печатаются романы в стихах и прозе Султанмахмута Торайгырова «Камар-Слу» (1914) и «Кто виноват?» (1916), которые по своей проблематике, сюжету могут быть соотнесены, скажем, с ранней повестью казахского же писателя Б. Майлина «Памятник Шуги» (1915) и с поэмой чувашского поэта К. Иванова «Нарспи» (1908).

Героико-романтический пафос усиливается не только в творчестве народных певцов, но и в лирической и эпической поэзии самых разных

жанров (например, в песнях вайнахов-илли, в стихах и поэмах аварского поэта Махмуда из Кохаб-Россо). Более острой и классово определенной становится сатира (сопоставимы, думается, в этом плане сатирические произведения С. Стальского, Г. Цадасы и Т. Сатылганова, Фитрата, Завки и Тукая и др.).

Оправданной будет и параллель с политической сатирой Сабира, Дж. Мамедкулизаде, А. Ахвердова в азербайджанской литературе и с произведениями Д. Бедного, раннего Маяковского, Саши Черного, Ф. Сологуба в литературе русской. Или такой пример: В. Я. Мартынов, исследователь литературы народа коми, географически и этнически весьма удаленного от Северного Кавказа и Средней Азии, приходит к аналогичному, в сущности, выводу о том, что проявление демократических начал в предоктябрьской коми литературе (Иван Куратов) было тем необходимым звеном в ее развитии, которое в начале XX в. подготовило окончательную победу в ней реалистических принципов изображения действительности. Этот вывод, подкрепленный соответствующими аргументами, автор распространяет и на другие молодые литературы финно-угорских народов Поволжья и Приуралья, особенностью которых, по его мнению, был, однако, не столь длительный период их становления.

Разительные перемены происходят во всех жанрах устно-поэтического творчества. Так, М. Жармухамедов в статье «Фронтная жизнь в поэзии 1916 года» показал, что народное творчество периода национально-освободительного движения... свидетельствует о распространении в лексиконе казахов новых слов, заимствованных у русских. Мобилизация на тыловые работы послужила пробуждению сознания отсталых слоев казахского крестьянства, расширила его кругозор, «что неминуемо отозвалось в дальнейшей социально-классовой дифференциации казахского фольклора» [36. С. 222].

И еще одного аспекта хотелось бы коснуться. Присоединение Казахстана и Средней Азии к России способствовало возникновению такого нового для этого региона вида искусства, как живопись. Отметим, что Казахстан и Средняя Азия послужили источником вдохновения для целого ряда русских художников. Быт казахского народа на протяжении XIX в., и особенно второй половины его, получил отражение в рисунках Ч. Валиханова, Т. Шевченко, В. Верещагина, многих других писателей, ученых, путешественников. Однако самодержавие, опираясь на поддержку духовенства, решительно противилось развитию скульптуры, графики, живописи [37. С. 70]. Творчество русских живописцев, как и русских поэтов и писателей, исполненное глубокого гуманистического содержания, помогало преодолевать исторически объяснимые предубеждения. Интересным и глубоко знаменательным является в этом смысле искусство Павла Кузнецова. К 1912—1916 гг. относятся его живописные полотна и графические листы, написанные на киргизские и бухарские темы. Исследователь творчества П. Кузнецова отмечает: «Взгляд художника на быт кочевников далек от въедливой педантичности иноземца. Доверчивый, простодушно-мудрый, он отмечает и подчеркивает не столько особенное, сколько общечеловеческое...».

«Открытие Востока П. Кузнецовым, — продолжает искусствовед, — не географическое и не этнографическое, а эстетически-правдивое. Уходя в киргизские степи, он приходит к самому себе, обретает способ выявления собственной духовности, получившей масштабные координаты основополагающих категорий бытия» [38. С. 23—24].

Кузьма Петров-Водкин, неоднократно путешествовавший по городам Средней Азии и восхищенный «колористическим гением Востока», со-

вмещал профессиональное изучение восточного искусства с пристальным интересом к повседневной жизни коренного населения. Художник размышлял о глубинном философском единстве искусства Востока и Запада, его корневой общности. В книге путевых очерков К. Петрова-Водкина «Самаркандия» запечатлена благодарность автора таджикам и узбекам «за их ласковую приветливость к полюбившему их огненно-бирюзовую Родину» [39. С. 596]. Искусствоведы отмечают большую роль калмыцкой темы в творчестве С. В. Иванова (1864—1910), П. А. Власова (1857—1935)—также в связи с углублением в их живописи реализма и упорением демократического начала [40. С. 58—60].

Хотелось бы подчеркнуть, что многим из тех русских ученых-востоковедов, которые внимательно следили за развитием событий в Средней Азии в предоктябрьский период, происходившие перемены представлялись вполне закономерными. Вернувшись из командировки в Ташкент в 1916 г., выдающийся тюрколог А. Самойлович пронизательно заметил: «...в Туркестане зародилась новая литература. Для меня это не было неожиданностью» [41. С. 3; 42. С. 209].

Таким образом, открытие непреходящих ценностей культуры Востока, как и отражение современной жизни его народов — будь то в изобразительном искусстве, художественной литературе или в научных трудах, — включалось в общий арсенал культуры народов России, обогащая его и закладывая фундамент грядущей советской социалистической культуры.

\* \* \*

Таковы некоторые закономерности формирования литератур нового типа на третьем этапе революционно-освободительного движения в России.

Затронутая в статье проблематика успешно разрабатывается в коллективных трудах и в монографических исследованиях. Примерно с 60-х гг. появляются работы (в первую очередь очерки истории отдельных литератур), которые вводят в научный обиход большое количество новых факторов, архивных материалов, фольклорных источников, материалов дореволюционной печати, позволяющих обоснованно и концептуально исследовать сложные и неоднозначные процессы, происходившие в литературах страны. Так, появляется возможность от исследования проблем, касающихся судеб отдельных национальных культур, перейти к изучению закономерностей формирования близкородственных литератур и региональных литературных общностей [43—47]. Все это открывает ясные перспективы для плодотворного сопряжения национальных литературных явлений с закономерностями общероссийского и общесоюзного, послеоктябрьского литературного процесса, причем не только в синхронно-типологическом аспекте, но и в аспекте диахронической типологии.

#### П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> См., например: Саидбаев Т. С. Ислам и общество. М., 1984.

<sup>2</sup> Алтынсарин И. Избранные произведения. Алма-Ата, 1957.

<sup>3</sup> Васильев А. В. Материалы к характеристике взаимных отношений татар и киргизов с предварительным кратким очерком их отношений. Оренбург, 1898.

<sup>4</sup> Ленин В. И. Итоги дискуссии о самоопределении//Полн. собр. соч. Т. 30.

<sup>5</sup> См., например: Надъярных Н. С. Настриваясь на героический лад//Революция 1905—1907 годов и литература. М.: Наука, 1978.

<sup>6</sup> Шариф А. А. В Закавказье и на Ближнем Востоке//Там же.

<sup>7</sup> Владимирова А. Путевые заметки сына Н. Г. Чернышевского//Гулистан. 1972.

№ 7.

<sup>8</sup> Хашим Р. и Фиш Р. Глазами совести. Душанбе, 1978.

<sup>8а</sup> Акбиев С. Х. Связь времен и дружба литератур. Махачкала, 1985.

- <sup>9</sup> Исмаилов Х. Звезда подо льдом//Вопр лит. 1988. № 4.
- <sup>10</sup> Ломидзе Г. Ценить дружбу//Вопр. лит. 1987. № 11.
- <sup>11</sup> Н. Г. Чернышевский в общественно-политической мысли народов СССР. М., 1984.
- <sup>12</sup> Новейшими розысканиями таджикских ученых установлено, что впервые рассказы Л. Толстого в переводе на таджикский язык появились в 1909 г. Известный литератор-просветитель А. Фитрат с главами романа «Анна Каренина» познакомился в 1912 г. по публикациям в газетах «Танин» (Стамбул. 18. X 1910) и «Вакт» (Оренбург. 19.II 1910). Вообще, в города Средней Азии произведения многих русских классиков поступали в персидских и арабских переводах раньше, чем на языке оригинала [13; 14].
- <sup>13</sup> Вали С. Ойнаи мухаббат (Зеркало любви)//Маданияти Тоҷикистон. 1983. 9 сент.
- <sup>14</sup> Икромид Д. Пайванди афкар (Духовные узы)//Адабиёт ва санъат. 1984. 15 марта.
- <sup>15</sup> Хетагуров К. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1951. Т. 3.
- <sup>16</sup> В 1905 г. Акакий Церетели перевел на грузинский язык «Интернационал», примерно в то же время «Интернационал» был переведен на чувашский язык поэтом-революционером Тимофеем Таэром (1887—1916); подобные примеры могут быть умножены.
- <sup>17</sup> Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1953. Т. 23.
- <sup>18</sup> Русская литература и журналистика начала XX века (1905—1917). М.: Наука, 1984.
- <sup>19</sup> Гайнуллин М. Татарская литература и публицистика начала XX века. Казань, 1983.
- <sup>20</sup> Гимадиев У. И. Роль и значение татарских сатирических журналов (1906—1917) в развитии национальной литературы: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1983.
- <sup>21</sup> Киров С. М. Избранные статьи и речи. М., 1937.
- <sup>22</sup> Соктоев А. Б. Становление художественной литературы Бурятии: Дооктябрьский период. Улан-Удэ, 1976.
- <sup>23</sup> Ленин В. И. Еще одно уничтожение социализма//Полн. собр. соч. Т. 25.
- <sup>24</sup> Ленин В. И. Горючий материал в мировой политике//Полн. собр. соч. Т. 17 (Выделено курсивом В. И. Лениным).
- <sup>25</sup> Ленин В. И. Еще раз к вопросу о теории реализации//Полн. собр. соч. Т. 4.
- <sup>26</sup> Восстание 1916 года в Средней Азии и Казахстане: Сборник документов. М.: Наука, 1960.
- <sup>27</sup> Кагельская З. Д. Основные предпосылки восстания 1916 года в Узбекистане. М., 1972.
- <sup>28</sup> Ленин В. И. Пробуждение Азии//Полн. собр. соч. Т. 23.
- <sup>29</sup> Декреты советской власти. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 1.
- <sup>30</sup> История узбекской советской литературы. Ташкент: Фан, 1987.
- <sup>31</sup> Каримов Э. Развитие реализма в узбекской литературе. Ташкент, 1975.
- <sup>32</sup> Касымов Г. Зарождение и развитие узбекской революционной поэзии (1905—1917): Дис. ... д-ра филол. наук. Ташкент, 1983.
- <sup>33</sup> Туркаев Х. В. Зарождение и становление реализма в чеченской и ингушской литературе (60-е годы XIX—40-е годы XX в.): Рукоп. дис. ... д-ра филол. наук.
- <sup>34</sup> Хадарцева А. А. История осетинской драмы. Орджоникидзе. 1983. Ч. 1.
- <sup>35</sup> Гайнуллин М. Татарская литература и публицистика начала XX века. Казань, 1983.
- <sup>36</sup> Цит. по кн.: Дулатова Д. И. Историография дореволюционного Казахстана. Алма-Ата, 1984.
- <sup>37</sup> Казыханова Б. Р. Эстетическая культура казахского народа. Алма-Ата, 1973.
- <sup>38</sup> Мочалов Л. Павел Кузнецов. Л., 1980.
- <sup>39</sup> Петров-Водкин К. С. Хлыновск. Пространство Евклида. Самаркандия. Л., 1982.
- <sup>40</sup> Борисенко И. В. Калмыки в русском изобразительном искусстве. Элиста, 1982.
- <sup>41</sup> Самойлович А. Драматическая литература сартов//Вестн. Импер. о-ва востоковедения. Пг., 1917. № 5. Отдел. отд.
- <sup>42</sup> Нуралиев Д. Роль русского востоковедения в изучении тюркоязычных литератур//Вопросы советской тюркологии. Ашхабад, 1985.
- <sup>43</sup> Надгярных Н. С. Типологические особенности реализма: Годы первой русской революции. М.: Наука, 1972.
- <sup>44</sup> Юсуфов Р. Ф. Общность литературного развития народов СССР в дооктябрьский период. М.: Наука, 1985.
- <sup>45</sup> Гамзатов Г. Г. Литература народов Дагестана дооктябрьского периода: Типология и своеобразие художественного опыта. М.: Наука, 1982.
- <sup>46</sup> Фольклор адыгов в записях и публикациях XIX—начала XX в. Нальчик, 1979.
- <sup>47</sup> Карачаево-балкарский фольклор в дореволюционных записях и публикациях /Сост., вступ. ст. и коммент. А. И. Алиевой. Нальчик, 1983.

И. Б. МОЛДОБАЕВ

### ЭПОС «МАНАС» КАК ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Эпос «Манас» — выдающийся памятник устного народного творчества киргизов. Огромные размеры «Манаса» — сотни тысяч стихотворных строк в наиболее полном варианте — позволяют говорить о нем, как об едва ли не самом «протяженном» эпосе в мире.

Еще Ч. Валиханов с большой точностью указал на значение «Манаса», представляющего собой «энциклопедическое собрание всех киргизских мифов, сказок, преданий, приведенное к одному времени и сгруппированное около одного лица — богатыря Манаса. Это нечто вроде степной Илиады. Образ жизни, обычаи, нравы, география, религиозные и медицинские познания киргизов и международные отношения их нашли себе выражение в этой огромной эпопее» [1. С. 349—350].

Относительно датировки эпоса существуют различные мнения. Так, известный историк и археолог А. Н. Бернштам полагает, что «героический эпос „Манас“ в своей древнейшей части является отражением истории киргизского народа в эпоху VIII—IX вв.» [2. С. 176]. Определением эпохи сложения эпоса «Манас» занимались еще первые дореволюционные собиратели и исследователи — Ч. Валиханов, В. Радлов и др. Вопрос этот заслуживает специального рассмотрения. Отметим, однако, что сама специфика киргизского эпоса, складывавшегося на протяжении длительного исторического периода, затрудняет четкое определение его временных границ. Исследователи выделяют различные «слои» в эпосе, хронологически чрезвычайно далеко отходящие друг от друга, — начиная с середины I тысячелетия до н. э. и вплоть до XIX столетия. На наш взгляд, для более точного определения времени сложения «Манаса» следует провести детальный историко-этнографический анализ памятника, до настоящего времени так и неосуществленный. Пока же мы сошлемся на две последние работы киргизских фольклористов — Р. З. Кыдырбаевой и Э. Абдылдаева, считающих, что в основу эпоса, традиционные сюжеты которого, по мнению авторов, оформились на территории Средней Азии, легли главным образом события IX—XIII вв.

Судя по эпосу, у киргизов имелись элементы государственного строя. Об этом, в частности, говорит социальная номенклатура «Манаса». Так, наряду с терминами, характеризующими феодальную верхушку, — хан, падыша, бек, бий, султан, бай, төрө, мырза и т. д., в нем отражены и такие термины, как эл (род, племя, народ), букара (бедняк), журт (народ, подданные), кул (раб), кун (рабыня), уйчу (пастух), койчу (чабан), жылкычы (табунщик), уста (мастер) и другие, обозначающие подданных и зависимых людей. Есть в эпосе сведения и о таких

категориях людей, как чечен (мудрец, знаток военных и других дел), сынчы (своеобразные эксперты военного дела, предсказатели судеб, определители качеств животных, особенно коней). Эти люди могли быть выходцами как из богатой, так и из бедной среды. В киргизском феодальном обществе, согласно «Манасу», было и своеобразное военное сословие. Подтверждение тому — сведения о чоро (ближайшем сподвижнике эпического богатыря), эре (герое, богатыре, храбрце) и др.

Немалый интерес вызывает отражение в эпосе этнических связей киргизов с соседними народами. В «Манасе» можно насчитать десятки этнонимов, рассмотренных нами в специальной работе. Здесь мы приедем данные лишь о некоторых из них, могущих послужить подспорьем для разработки проблемы этнических контактов киргизского народа. Этноним ногой в различных модификациях встречается почти во всех вариантах эпоса «Манас». Так, в «Маджму ат-таварих» упомянуты этнонимы ак ногой и кара ногой. В записи Ч. Валиханова указывается этноним сары ногой, а у В. Радлова — ногой, сары ногой, кара ногой. Этноним ногой встречается также и в сводно-сокращенном варианте «Манаса». В большинстве вариантов эпоса сам Манас предстает как выходец из ногоев. Ногоем звали вроде бы и отца Манаса.

На территории Крымского полуострова (современные ногаи живут сравнительно недалеко от этого региона) засвидетельствовано множество топонимов, образованных от тюрко-монгольских этнонимов, в том числе киргизских, что подтверждается и данными эпоса. Так, исследователи связывают топонимы Бес-Терек, Малай, Барыньколь, Бакалы, Баяньколь с киргизскими родовыми названиями беш терек, малай, баарын, бакал, баян [З. С. 80]. В этом регионе зарегистрировано немало и других этнопонимов киргизского происхождения [З. С. 77—89].

Кроме этнонима ногой в эпосе «Манас» наиболее часто встречаются названия таких крупных в прошлом племен, как кыпчак, катаган, нойгут, найман, жедигер и др. Этнонимы «Манаса» могут стать источником для изучения этногенеза и этнических контактов киргизов с народами, проживающими на довольно обширной территории нашей страны. Так, упомянутые в эпосе этнонимы дуулат, абак, сары уйшун, албан, жедигер, багыш, алчын, аргын свидетельствуют о близком родстве киргизского и казахского народов. Всего же в этнонимии киргизов и казахов нами выявлено свыше тридцати общих для обоих этносов названий племен и родов, причем нередко совпадают не только этнонимы, но и родовые знаки (тамги).

В эпосе «Манас» обнаружено также более двадцати этнонимов, общих для киргизов и узбеков: абак (по-узбекски — абаклы), алчын, аргын, далба (дальба), дербен (дормон), жедигер (джадыгер), ички (эчки), калча (кальча), кангы (канглы), кара калпак, катаган, конгурат (конгурат), курама, кунту (кюнту), кызылбаш, кыргыз, мангыт, найман, ногой (ногай), сарайман (сарай), сарт, тарак (тараклы), татала (тат), түрк (тюрк), чаркоо (возможно, узбекское чаркаллы). Многие из этих названий отражены не только в «Манасе», но и непосредственно в этнонимии киргизов.

Такие встречающиеся в «Манасе» этнонимы, как кыпчак, конгурат, канглы, катаган, курама, уйгур, туркмен, мангыт, эштек, находят параллели в этнонимии каракалпаков. Отдельные упомянутые в «Манасе» этнонимы, например, бозек, отсутствуют в этнической номенклатуре киргизов, но характерны для каракалпаков (бозак) и ногайцев. (В этнических составах каракалпаков и киргизов мы насчитали еще около двадцати параллельных родов и родовых подразделений).

Согласно «Манасу» этнические связи прослеживаются также у кир-

гизов и туркменов. Так, в варианте С. Орозбакова предком Манаса в девятом колене был Угуз-хан. Это подтверждается и родословной двух народов, где нами обнаружено еще несколько параллельных этнонимов.

Как известно, киргизы этнически близки с народами центрально-азиатского происхождения, и в частности — с народами Саяно-Алтайского нагорья. Речь прежде всего может идти об этнической близости киргизов и алтайцев, что находит свое отражение и в «Манасе». Во многих вариантах эпоса подчеркивается, что сам Манас родился на Алтае. Интересно, что, выступая в эпосе в качестве топонима, слово «Алтай» в отдельных случаях является, на наш взгляд, и этнонимом. Примеры тому можно встретить в варианте С. Орозбакова. Кроме того, в этнонимии киргизов и алтайцев насчитывается около десяти сходных этнонимов, частично упомянутых в «Манасе» (кыпчак, найман, дөөлөс, сарт).

Некоторые этнонимические параллели наблюдаются у киргизов и с тувинцами. Нам обнаружено порядка десяти таких этнонимов (в «Манасе», в частности, говорится о крупном племени мунгуш или монгуш). Определенная этническая близость прослеживается у киргизов с хакасами.

Не менее важный материал содержится в эпосе и по этническим связям киргизов с башкирами. Так, в нем обнаружено более десяти этнонимов, совпадающих с башкирскими: аргын, кангы (у башкир — канлы), кызыл баш, кыргыз, кытай или кара кытай (катай), кыпчак, калмак, найман; ногой, сарт, туркмен, уйшун, эштек (у башкир — иштэк или истяк). К этому добавим, что в этнонимии киргизского и башкирского народов нами выявлено еще более двадцати сходных названий племен, родов и родовых подразделений.

Киргизы, согласно эпосу, — скотоводы. Коровы, лошади, овцы, верблюды неоднократно упоминаются на всем протяжении «Манаса». Разумеется, специфика эпического повествования не позволяет нам точно определить, какие животные преобладали в скотоводческом хозяйстве киргизов и какова была его структура в целом, однако представляется, что коневодство была отведена заметная роль.

Эпос отразил и сведения об охоте; в нем, например, говорится о таком древнем виде коллективной охоты, как салбырын 'облавная охота'. В сагымбаевском варианте эпоса есть специальный раздел, так и называющийся: «Как Манас со своими товарищами ходил на салбырын (т. е. на облавную охоту. — И. М.)» [4. С. 233—260]. Для охоты, судя по тексту «Манаса», была выбрана местность между Алтайскими горами, рекой Уркун (вероятно, Орхон), озером Бар-Кель и перевалом Ангир. Участниками охоты были 84 человека — с беркутами, гончими собаками и ружьями.

Процесс коллективной охоты, отраженный в эпосе, можно сопоставить с аналогичными способами охоты, бытовавшими в прошлом у монголов, узбеков, таджиков, башкир, алтайцев, тувинцев, шорцев и других народов. Описание коллективной охоты в «Манасе» находит параллели и в миниатюрах к «Бабур-наме».

Отразил эпос и занятия киргизов земледелием. Так, в его сводном издании есть даже специальный раздел, в котором говорится, что Манас, обиженный на отца, занялся земледелием в районе Андижана. То, что определенная часть киргизов в дореволюционное время была знакома с земледелием, косвенно подкрепляется и названиями фруктов и ягод (алма—яблоки; жангак — орех; анжыр — инжир, винная ягода, смоква; курма—финик (плод); мисте — фисташка; алча—вишня; жүзүм — виноград), перечисляемыми при описании сада некоего Алооке в районе

того же Андижана и Кара-Суу. Вообще, следует отметить, что население Южной Киргизии издавна выращивало садово-огородные культуры, — киргизы в этом регионе проживают, по крайней мере, несколько веков.

Знакомство киргизов с земледелием в какой-то мере подтверждается и упоминанием в «Манасе» строительства большого арыка, где вместе с другими пленными работал и дядя Манаса—Бай [4. С. 176—179].

Широко представлены в эпосе «Манас» сведения о материальной культуре киргизского народа. Описания охватывают широкий круг предметов и процессов повседневной жизни — от типа жилищ до приготовления пищи.

«Манас» — героический эпос, и не удивительно поэтому частые упоминания в нем различных атрибутов воинского убранства — таких, как белдемчи — боевое одеяние в виде металлического панциря, прикрывавшего живот и ребра воина; бадана — панцирь, кольчуга; чопкут — род боевого одеяния; карыпчы — боевые нарукавники; чарайна — латы; соот — кожаный нагрудник, надевавшийся на состязания; үпчүн — воинские доспехи и др. Некоторые из этих атрибутов отражены и в фольклоре ряда других народов. Например, кыяк (нагрудник) упоминается в алтайском эпосе и в русских былинах (куяк), а также в якутских олонхо (куйах). Специально для поединка предназначались штаны, изготовленные из кожи горного козла (назывался этот вид защитной одежды кандагай; такие штаны сшила для Кошой Каныкей — жена Манаса). Кроме того, под кандагаем подразумевали толстую кожу, из которой делали покрытие для боевого коня. Вообще, слово это многозначно, и происходит оно не из тюркских, а из тунгусо-маньчжурских и монгольских языков, причем народы указанных языковых групп кандагаем (с различными разночтениями) называют лося. Интересно, что только в киргизском языке этим словом обозначают одежду, которая, впрочем, могла изготавливаться и из кожи лося. Все это, на наш взгляд, подтверждает возможность отдаленных историко-культурных контактов киргизов с народами тунгусо-маньчжурской и монгольской языковых групп.

Кочевой образ жизни киргизов наложил определенный отпечаток на характер и способ приготовления пищи. Известно, что эпические герои многих тюрко-монгольских народов умели консервировать и «уплотнять» пищевые продукты, значительно уменьшая их в объеме, — специально для дальнего пути. Однако то, что мы узнаем о технологии приготовления кюль-азыка из киргизского эпоса, позволяет предположить, что в основе этого чудесного умения лежала вполне реальная «кулинарная традиция» кочевых племен; об этом свидетельствуют и собранные нами этнографические материалы.

Широко представлены в «Манасе» географические названия, — топонимия эпоса охватывает обширные территории Средней и Центральной Азии, в частности Киргизии; в отдельных случаях упоминаются и более отдаленные регионы. Правда, у нас пока нет веских доказательств знакомства киргизов с рекой Амуром, хотя топоним этот зафиксирован в «Манасе». Упоминается в эпосе, а также в других произведениях устного творчества киргизов топоним Кырым (Крым), причем в «Манасе» данный топоним выступает и в качестве этнонима, обозначающего население Крыма. Сведения о Крыме находим и в казахском эпосе «Эр Таргын». Любопытно, что главный герой эпоса, по происхождению киргиз, провинившись перед ханом, бежит из своей страны и находит приют в Крыму у народа кырк сан Кырым (кырк сан Кырым журту). Представляет интерес и то, что кырым в одном из значений трактуется как дальняя страна. В эпосе, скорее всего, имеется в виду не реальный гео-

графический объект, а любая удаленная от родной земли местность. И все-таки, как нам представляется, появление топонима Кырым в киргизском фольклоре есть результат доподлинного знакомства части киргизов с обозначаемым им регионом. Хронологически это можно отнести ко времени существования Золотой Орды, когда среди мигрировавших на Крымский полуостров народов могли быть племена, впоследствии вошедшие в состав киргизов.

Киргизы были неплохо осведомлены, на наш взгляд, и об обычаях других народов. Обратимся к следующим строкам:

Шибээ элдин ырымы	Обычай есть такой у шибээ —
Жаңы катын төрөсө	Новорожденному ребенку
Киндигин кескен камыштан,	Пуповину обрезать камышом.
Уругун шибээ деп койгон	Их племя называли шибээ.

[5. С. 22].

Или другой пример, свидетельствующий о знакомстве киргизов с племенем солонов:

Солоондун түбүн сураган,	Спросишь, кто такие солонь?
Сокудай сүйрү башы бар,	Головы у них продолговатые, как
	ступы,
Аркасында жыйылган	А сзади длинные волосы,
Сокбилектей чачы бар	Собранные в пучок в форме

песта.

Заслуживает внимания описание прически чжурчженей: «Мужчины слегка постригали волосы с боков, подбривали их спереди. Оставшиеся волосы собирали в пучок таким образом, что на темени образовывалось небольшое голое пространство. Оставшиеся волосы заплетали в косу (иногда в две-три косицы), которая свободно ниспадала на спину» [6. С. 376]. Если учесть, что солонь находились под сильным влиянием маньчжуров, предками которых были чжурчжени, и что они в XVIII в. контактировали с киргизами на территории Восточного Туркестана, то становится очевидным подлинность вышеприведенного описания из «Манаса». К тому же обычай ношения кос наблюдался не только у солонов, но и у самих китайцев, и заведен он был впервые, по мнению М. В. Воробьева, именно чжурчженями [6. С. 376].

Как известно, время киргизы определяли по световому дню и ночи; своеобразная эта терминология зафиксирована и в эпосе. Например, выражение «супа садык» означало предрассветное время.

В «Манасе» отражены и медицинские познания киргизов в прошлом. Киргизы обычно пользовались лекарствами растительного, животного и минерального происхождения. Из «Маджму ат-таварих» мы узнаем, что Манаса лечили медом и мясом детеныша газели. О том, что киргизы широко использовали лекарства животного, а также растительного происхождения, известно и из других источников.

В эпосе приводятся и своеобразные способы лечения ран, вывихов, переломов, упоминаются инструменты, применявшиеся народными лекарями, например, тинтүүр, с помощью которого из ран извлекали стрелы, аштар (ланцет), илмек (крючок, зацепка) и т. д., причем интересно, что тинтүүр был найден археологами в древнем могильнике енисейского кыргыза (IX—X вв.). Все это свидетельствует о достаточно высоком уровне народной медицины, в частности народной хирургии киргизов.

Судя по эпосу, киргизы имели развитую музыкальную культуру. Описанные в «Манасе» торжества, праздники не обходились без музыки; при этом упоминаются музыкальные инструменты, которые можно

подразделить на три группы: духовые, струнные, ударные. К духовым относятся керней, сурнай, сыбызгы, чоор, най или жез най, чымылдак чынроо (с разночтениями чыныроо, чыныроон). Названия керней, сурнай и най — персидского происхождения, сыбызгы — древнетюркского. Представляет интерес слово чоор, которое в несколько измененном виде бытовало еще у тувинцев, хакасов, алтайцев, уйгуров. В эпосе называются струнные инструменты — комуз, кыяк или кыл кыяк, ооз комуз, а также ударные — дап, доол, добул, добулбас (с разночтениями доолбас, доолбарс, доолбаш), нагыра, чылмардан (или чилмерден). Всего в «Манасе» приводится более двадцати названий музыкальных инструментов, причем большинство из них — иноязычные слова, обозначающие ударные инструменты. Так, например, слова дап (небольшой барабан), чилмардан (бубен) восходят к персидскому языку, а слово нагыра заимствовано из арабского.

Многие варианты эпоса «Манас» могут дать хороший материал для исследования религиозных верований киргизов. Как известно, в средневековые ислам пустил корни у многих народов Средней Азии. Фактически и киргизы в определенной степени восприняли ислам. В то же время многие мотивы и эпизоды эпоса свидетельствуют о живучести шаманизма, следы которого ведут в Сибирь. Вероятно, неслучайно в эпосе получили отражение топоним Амур и этноним шивей (по «Манасу» — шибээ). Дело в том, что в «Манасе» и в этнографических материалах зарегистрирован обряд захоронения на специальном навесе (ыжык) или на ветках дерева — с последующим захоронением костяка в землю. Такой же обряд сохранялся до начала XX в. у тунгусо-маньчжурских народов Приморья и Приамурья. Исследователи утверждают, что он был заимствован у появившихся на берегах Амура в IX в. уйгуров и енисейских кыргызов [7. С. 69—81], часть которых впоследствии составила ядро киргизского народа.

«Манас» может послужить подспорьем в изучении мифологии киргизов, тем более что работы на эту тему практически отсутствуют. На наш взгляд, киргизские мифы подразделяются на три большие группы. К первой относятся космогонические мифы, ко второй — этнологические, в том числе объясняющие происхождение животного мира, к третьей — мифы о покровителях (хозяевах), природных объектах и животных.

Мифологические сюжеты эпоса в основном связаны с животным миром, однако в той или иной мере они распространяются на все три группы киргизских мифов.

Изображаемые в «Манасе» мифические персонажи широко представлены в фольклоре алтайцев и других народов Центральной Азии; например, чудовище Желмогуз К. Юдахинным отождествляется с бабой-ягой. Легенда об одноглазом великане воплотилась в огузо-туркменском эпическом цикле «Огуз-наме». Как отмечает Х. Короглы, первой письменной фиксацией легенды о циклопе можно считать «Одиссею» (песнь IX). Одноглазые люди встречаются и у Геродота. По мнению же Х. Короглы, наиболее архаической версией мифа об одноглазых существах следует считать именно киргизскую [8. С. 41].

К мифологическим элементам «Манаса», имеющим международные параллели, вероятно, следует отнести и мифические существа итаалы.

Эргежэ эли, итаалы,  
Катыны адам, эркеги ит,

Кабарын уктум мен аны,  
Аларга кабар салбасын [9. С. 14].

Карлики их зовутся итаалы,  
Жены — нормальные люди, а  
мужья — собаки,

Осведомлен я о них,  
Пусть их не извещают.

О подобных существах говорится у Геродота и других древнегреческих авторов, а также у Плаано Карпини, посетившего в 1246 г. земли татаро-монголов.

Таким образом, эпос «Манас» может стать одним из важных источников при разработке многообразных вопросов истории и культуры киргизского народа. Исследования в этом направлении сулят, на наш взгляд, немалые перспективы.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Валиханов Ч. Ч.* Очерки Джунгарии//Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1985. Т. 3.
2. *Бернштам А. Н.* Эпоха возникновения киргизского эпоса «Манас»//«Манас» — героический эпос киргизского народа. Фрунзе, 1968.
3. *Лезина И. Н., Суперанская А. В.* Об этнопонимах Крыма//Тюркская ономастика. Алма-Ата, 1984.
4. Манас: Эпос Сагымбай Орозбак уулунун варианты боюнча. Фрунзе, 1978. 1 китеп.
5. Манас: Эпос кыскартылып бириктирилген вариант. Фрунзе, 1959. 1 бөлүк. 2 китеп.
6. *Воробьев М. В.* Культура чжурчженей и государство Цзинь (X в. — 1234 г.). М., 1975.
7. *Сем Т. Ю.* Этнокультурные контакты южных тунгусо-маньчжуров: (На материале погребальной обрядности)//Этнические культуры Сибири: Проблемы эволюции и контактов. Новосибирск, 1986.
8. *Короглы Х.* Туркменская литература. М., 1972.
9. Манас: Эпос Сагымбай Орозбак уулунун варианты боюнча. Фрунзе, 1983. 3 китеп.

А. А. ГАЗИЗОВА

**РОЛЬ ПАМЯТИ В ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ  
ПОВЕСТЕЙ Ч. АЙТМАТОВА**

Идее памяти в философском повествовании принадлежит структурообразующая роль. Воплощенная в художественных образах, идея памяти, как правило, концентрирует в себе нравственные аспекты произведения, его этический смысл и пафос. Анализ непростого соотношения исторической памяти и внутренних свойств личности героев — одна из характернейших особенностей прозы Ч. Айтматова. Память позволяет айтматовским героям сохранить в себе человеческое начало, она оберегает их связь с родной землей, традициями предков, являющимися гарантом существования личности в потоке истории.

Писатель наследует здесь опыт мировой и русской гуманистической мысли, философской и литературной, сосредоточенной на краеугольных духовных ценностях. Для Ч. Айтматова особенно важен опыт Л. Толстого, Ф. Достоевского, М. Горького, Л. Леонова. Стремясь постичь закономерности социального, нравственного развития человечества, он исследует психологические основы действительной человеческой памяти, ее роль в становлении характера, в воспитании ответственности, совести, долга. Пафос его обращенности к прошлому созвучен гоголевскому: «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!».

«Вселенная памяти», говоря словами Ю. Левитанского, — расширяющаяся. Прошлое в системе художественного мышления Ч. Айтматова не тень, бегущая за устремленным вперед человеком, и не пепел истории, легко сдуваемый ветром времени. В художественно-философской концепции действительности, развиваемой в айтматовской прозе, прошлое как эмоциональная и нравственная память устремлено в будущее. Являясь воплощением устойчивости в стремительно изменяющемся мире, оно служит совершенствованию жизни. Традиционный завет «живи и помни» обретает в произведениях Ч. Айтматова свой исконный непреложный характер и раскрывается во всей символической глубине, вмещающей в себя и тревогу, и осознание трагической непрочности нашей памяти. Ведь нити ее легко обрываются, соприкасаясь с равнодушием и жестокостью. Сохранение в нас прошлого, т. е. памяти о нем, предполагает неустанную душевную работу.

Память выступает в прозе Ч. Айтматова как опора в критической ситуации, как двигательная сила нравственных поступков, ей принадлежит не вспомогательная, а конструктивная роль. Память преодолевает

границы обыденной жизни, выводит героев философского повествования в пространство истории и общечеловеческой культуры.

Осваивая совокупный духовный опыт народа, человек обретает, как говорят философы, «двойное существование». Он представляет не только себя, но и то превосходящее его целое, в которое он «встроен» со своим единичным опытом, со своими индивидуальными возможностями. Понять это — значит установить связь личного со всеобщим, соединить свою память с народной. Ч. Айтматову свойственно глубокое понимание неразрывной исторической связи времен. Он убежден, что этические законы предков, воплощенные в народно-поэтическом сознании, наследуются новыми поколениями самостоятельно, в преодолении обстоятельств и самопреодолении.

Мысль писателя обращена к самому процессу взаимодействия внутренней, психологической жизни человека с исторической памятью народа. В этом взаимодействии заключено одно из основных противоречий современной эпохи, переживающей кардинальное переустройство всей привычной жизненной систематики. Ч. Айтматов предостерегает от слепого подчинения традициям.

Несвободное отношение к этическим предписаниям прошлого может стать препятствием в развитии личности, лишить счастья, — участь, грозившая Джамиле. Прошлое властвовало над Алиман, которая погубила свою жизнь, так и не сумев его преодолеть («Материнское поле»). Писатель утверждает право и необходимость свободного выбора по отношению к законам предков. Их надо поверять реальностью XX столетия, гуманистической нравственностью. Эту идею он с большой настойчивостью проводит во всех своих произведениях, на всех идейно-эстетических уровнях, в том числе и на мифологическом (особенно показательны романы «И дольше века длится день», «Плаха»).

Один из мотивов легенды о Рогатой матери-оленихе как раз связан с проблемой разумного, сознательного отношения к опыту прошлого, к закону предков. В действительной народной жизни иные заветы складывались и утверждались вопреки воле народа, как отражение безумного и разрушающего могущества власти и богатства. «Э-э, сын мой, еще в древности люди говорили, что богатство рождает гордыню, гордыня—безрассудство<...> Э-э, сын мой, а там, где деньги, слову доброму не место, красоте не место» [1. С. 49], — говорит старик-сказитель у Ч. Айтматова.

Рассказывая внуку о прародительнице бугинского рода, завещавшей детям своим «дружбу и в жизни, и в памяти», мудрый Момун передавал ему народное понимание правды и справедливости, которое дает опору в жизненных испытаниях. Люди должны помнить отцов, иначе «никто не будет стыдиться плохих дел<...> И никто не будет делать хорошего дела, потому что все равно дети об этом не будут знать» [1. С. 49]. Так считает старик, и в легенде есть мотив, подтверждающий его мысль. Он связан с забвением детьми отцовского завета — никогда не убивать маралов.

Когда «умер один очень богатый, очень знатный бугинец», его кичливые сыновья вознамерились «установить на гробнице отца рога марала, дабы все знали, что это усыпальница их славного предка из рода Рогатой матери-оленихи» [1. С. 48]. И стоило один лишь раз нарушить связь нравственного закона с памятью о спасительнице рода, чтобы все перевернулось с ног на голову. Отныне уже все бугинцы считали своим долгом водружать на усыпальницах близких рога убиваемых ими детей матери-оленихи, а «кто не умел добыть рога, того считали недостойным человеком» [1. С. 49]. Убийство священных животных

«теперь почиталось за благо, за особое уважение к памяти умерших» [1. С. 49].

Ч. Айтматов показывает, как происходит подмена сущностного содержания памяти о родителях механической обрядностью, рассудочной и одновременно безрассудной данью внешней, формальной ее стороне. Убийство священного животного обернулось надругательством над жизнью и памятью, распалась связь времен, народное самосознание утратило нравственную опору. Неслучайно к Момуну вернулось чувство собственного достоинства, и он обрел силы для протеста лишь тогда, когда увидел вернувшихся вдруг маралов. Убив же мать-олениху, он оказался раздавленным злой волей Орозкула.

Признаком фундаментального неблагополучия, нарушения коренных законов жизни является в произведениях Ч. Айтматова и роковое одиночество человека, которое может быть порождено как внутренними изъянами в сознании, так и окружающими человека людской злобой и равнодушием. Характер конфликта, например, повести «После сказки» выявляется отчетливее, если сопоставить ее с «Нахаленком» М. Шолохова и рассказом О. Осадчего «Вот придет Белямей». Сходные с айтматовским произведением сюжетом и расстановкой действующих сил, они отличаются от него прежде всего четко обозначенной классовой подоплекой ситуации. У Ч. Айтматова же все решено в нравственно-философском ключе.

Мальчик на лесном кордоне испытывает чувство неизбежного сиротства и одиночества, среди шести взрослых он чужой. Те, от кого зависит судьба Мальчика, к нему жестоки (Орозкул), враждебны (бабка), равнодушны (Сейдахмат). Мальчик не может понять, почему он всем чужой: «Чужой... А что, если он не хочет быть чужим? И почему именно он должен считаться чужим? Может быть, не он, а сама бабка чужая?» [1. С. 8].

Трагическую роль в судьбе Мальчика сыграла и его тоска по отцу, его страстное желание в самый счастливый день быть признанным отцом. Ситуация «отец—сын», корнями уходящая в мифологию, встречается во многих произведениях Ч. Айтматова, в том числе в романе «Плаха».

Устойчивый фольклорный мотив трагического неузнавания отцом сына, их смертельный поединок (Одиссей и Телегон в греческом эпосе, Гильдебранд и Гадубранд в германском, Рустем и Сухраб в иранском, Илья Муромец и Сокольник в русских былинах) отразились в рассказе М. Шолохова «Родинка». По-своему трансформировался этот мотив в современной литературе — в повести В. Распутина «Живи и помни», в произведениях Ч. Айтматова — «Лицом к лицу», «После сказки», «Материнское поле», «Плаха». Но в них неузнавание отцом сына связано не столько с объективными или predetermined роком обстоятельствами, как в эпосе, сколько с нравственно-психологическими, социальными. В иных критических ситуациях инстинкт самосохранения побеждает родительские чувства, как то случилось с Исмаилом («Лицом к лицу»), с распутинским Андреем Гуськовым («Живи и помни»), с отцом Мальчика.

Современная наука, сопоставляя поведение людей и животных в критической ситуации, подчеркивает решающее значение разумного начала в поведении человека. Только животные стараются выжить любой ценой. В повести «Прощай, Гульсары!» есть эпизоды, изображающие поведение маток в овечьем стаде в бескормицу: они не подпускают к себе голодных ягнят. «Такое случается, — объясняет автор, — когда вступает в силу жесточайший закон самосохранения, когда matka

инстинктивно отказывается кормить сосунков, чтобы выжить самой, потому что организм ее не в силах питать других» [1. С. 297]. Ассоциативная связь заставляет вспомнить родителей Мальчика, бросивших его потому, что каждый из них завел себе новую семью и новых детей.

Противостояние отца сыну в повести «После сказки» очень далеко от древнего, мифологического: слишком неравны силы, слишком далеко Мальчику от возмужания. Пока он нуждается в опоре и защите. Однако бездетный Орозкул, мечтающий иметь сына, злобно ненавидит Мальчика, которому мог бы стать отцом. Никто и ничто не мешает ему усыновить Мальчика, кроме собственной духовной слепоты и нравственной неразвитости. Хозяин жизни, каковым он себя считает, губит жизнь. Однако и этот страшный образ Ч. Айтматов создает, исходя из толстовского принципа: люди не делятся на чистых носителей добра или зла, — они «пегие». И Орозкулу ведомы естественные, добрые движения души, но они пропадают нереализованными.

Человек не может быть один. Он нуждается в помощи и поддержке близких для осознания смысла и полезности своего существования, для соотношения его с высшими ценностями человеческого бытия, с идеалом. Лишенный родителей, заброшенный в отторгающий его мир, Мальчик находит поддержку в прекрасном образе Рогатой матери-оленихи, спасшей, по преданию, его народ от гибели.

Образ этот символичен, многомерен, смысл его не может быть сведен к той или иной исследовательской формуле. Но важно то, что образ этот у Ч. Айтматова противостоит всему косному, равнодушному и жестокому, что тщится утвердить свою власть в мире, стремясь навязать жизни свои несправедливые законы; он несет утешение и символизирует возможность иного строя людских отношений и чувств. Как сказано у В. Белинского, «идеал не произвольная игра фантазии, не выдумка, не мечта; и в то же время идеал — не список с действительности, а угаданная умом и воспроизведенная фантазией возможность того или иного явления» [2. С. 89].

Поэтическая легенда родного народа живая для Мальчика, она говорила ему, что он не одинок, что Рогатая мать-олениха спешит к нему и обязательно поможет. Надежда давала силы верить в тот счастливый день, когда он скажет миру: «Здравствуй, это я!». И его все узнают, полюбят и примут в семью людей.

Но Ч. Айтматов написал повесть о том, как этого не произошло. Не злые внешние обстоятельства и не чужие люди, но близкие, родные, отвернувшись от Мальчика, обрекли его на страдания и гибель. Ситуация одиночества и отторгнутости человека, еще не успевшего повзреть, но сполна узнавшего несправедливость, есть для писателя — повторим это — зловещий симптом распада традиционных человеческих связей, нравственных основ поведения. Здесь настоящее в своей злой сиюминутности как бы отрицает прошлое и будущее, этическую традицию: «распалась связь времен». И Мальчик сделал выбор, решивший, надо думать, не только его судьбу.

Дед Момун, приучая внука здороваться за руку со взрослыми, объяснял: один из семи встреченных может оказаться пророком, поздороваться с ним за руку — значит прикоснуться к тайне жизни, могуществу разума и духа, обрести в них опору. Подтекст этого эпизода раскрывается в ходе повествования. Этим седьмым, никем из живущих на кордоне не признанным, был, оказывается, Мальчик. Доказательств незаурядности маленького героя в повести немало, в их числе и прямое авторское суждение, как бы подводящее итоги: «Он прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом. А небо

вечное. И в этом мое утешение. И в том еще, что детская совесть в человеке — как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прорастает» [1. С. 116].

Прослеживая эволюцию творчества Ч. Айтматова, можно увидеть, как писатель, говоря его собственными словами, уходил «от всякого рода „романтических” представлений о жизни к максимально возможной и доступной искусству правде жизни». «Максимально приблизившись к конкретному человеку, писатель осознает его самоценность, высокое историческое предназначение» [3. С. 4]. С особым вниманием он всматривается в способность человека преодолевать себя, свой страх и свою слабость.

В повести «Лицом к лицу», в романе «Плаха» отцы становятся причиной несчастья сыновей, а в «Пегом псе, бегущем краем моря» трое взрослых мужчин погибают, чтобы остался жить мальчик Кириск. И в этой повести сюжет и обстоятельства экспериментальны, намеренно выстроены автором: в считанные часы, в замкнутом пространстве нивхской лодки, заблудившейся в тумане, сталкиваются разные сознания, характеры, поколения, делая выбор между жизнью и смертью.

Писатель кропотливо исследует ситуацию нравственного выбора. Он вскрывает диалектическую борьбу взаимоисключающих мотивов поведения не только внутри сообщества родственников, но и в тайниках разума и чувств каждого из них. Ч. Айтматов ведет повествование в нескольких планах — реальном, поэтическом и символично-философском, он стремится показать, сколь велик «резерв тех человеческих сил, которые борются со злом» [4. С. 319] (здесь прослеживается связь с этическими воззрениями Л. Толстого, М. Горького).

Не только старик Орган и отец мальчика Эмраин, выбравшие смерть, не только Кириск, с недетским терпением и мужеством преодолевающий отчаяние, утверждают в повести высокое предназначение человека. Быть может, наиболее интересен и весом в этом отношении образ дяди мальчика — Мылгуна.

Именно его нравственная основа была подвергнута максимальному испытанию. Он, слабый человек, словно утративший в момент смертельной опасности представление о том, кто он, проклявший неправедный миропорядок, который обрекает невинного на муки, — жертвует собой во имя мальчика, и жертва эта героична, она вся — из преодоления собственной немощи и страха. Ч. Айтматов показывает нам торжество общечеловеческого нравственного закона: «Пусть даже жизнь великое и несомненное благо, но я не куплю его за сознание собственной гнусной слабости» (Сенека).

Универсальный смысл «Пегого пса...» предполагает и особую, насыщенную символической художественную форму. Так, семантически значимыми оказываются и обычай «вода — младшему», упоминаемый также в повести Н. Думбадзе «Не бойся, мама!», и заклинание Кириска «Синяя мышка, дай воды!»; о сходном заклинании в русском фольклоре говорит В. Федоров в «Снах поэта»: его произносят, когда ищут потерянное («Мышка, мышка, поиграй да отдай!») [5. С. 81]. Это Кириск затерян в океане, это его должна отыскать синяя мышка и напоить живой водой. Фольклорные мотивы и речения, эти сгустки векового опыта, расширяют символические пределы повествования, сообщают ему притчеобразный характер.

Поединок человека с трагическими обстоятельствами совершается у Ч. Айтматова во имя преодоления всеобщей разъединенности. Писатель не устает утверждать, что и законы мироздания, и совокупный опыт всех времен и народов требуют от каждого сопричастности, со-уча-

ствия, со-страдания, со-единения, чтобы противостоять бездне, порождающей исмаилов, орозкулов, манкуртов, сегизбаевых, обер-кандаловых, базарбаев.

Важно подчеркнуть, что нарушение традиционной этики взаимоотношений поколений означает для Ч. Айтматова и пагубный разрыв между прошлым и будущим, отказ от исторической преемственности. Разные грани этой проблемы исследуют В. Распутин («Последний срок», «Прощание с Матёрой»), Н. Думбадзе («Не бойся, мама!», «Белые флаги»), И. Друцэ («Запах спелой айвы»), Г. Матевосян («Оранжевый табун»). Характерной в этом отношении для Ч. Айтматова является и повесть «Ранние журавли». Но «Пегий пес...» — наиболее полное выражение мысли о том, что противоречия между поколениями снимаются нравственным чувством, максималистским по характеру, а в основе его — память, нравственно-философский опыт человечества.

Оставаясь реалистическим изображением быта нивхских рыбаков, эта повесть соединяет в себе «поэтику и сказа, и мифа, и легенды» (В. Оскоцкий). Она демонстрирует нам связь современных духовных исканий с вековым общечеловеческим нравственным опытом и восприятие художником чужой культуры как своей, соприродной ему. Память Ч. Айтматова оплодотворена основательным знанием культур народов мира, о чем со всей убедительностью говорит публикация фрагмента из нового романа: действие происходит на одном из островов Мраморного моря, героиня — болгарка Бахиана [6. С. 3—19]. В повести «Пегий пес...» Ч. Айтматов поэтическим видением постиг характер, особенности мышления и своеобразные условия существования нивхов, хотя этнографическое бытописание не ставил своей целью. Он открылся читателю неожиданной и очень значительной стороной своего дарования.

Тема памяти является нравственно-философской основой сложного структурного образования, каким является «Пегий пес...» с его разветвленной системой отсылок в разные сферы духовной жизни нашей цивилизации. Образ памяти воссоздается путем совмещения реалистического и условного, сознательного и подсознательного, разумного и стихийного. Он включает в себя конкретного человека Органа, воплощение его духовной энергии — каяк, космическое начало — звезды, фольклорно-поэтические элементы — ритуальные песни, сны. В него входят все природные стихии, а в конечном счете — жизнь и смерть героев. И вся повесть — это философская, поэтическая память-притча о земле, воде, человеке, его душе и разуме.

Память, согласно Ч. Айтматову, утверждается связью поколений. Опыт Органа, его самопожертвование позволили сохранить жизнь Кириску, а тем самым — уберечь будущее. Старый, неказистый нивх предстает перед нами во всем богатстве внутренней жизни. Здесь уместно обратиться к программным высказываниям писателя, дающим «ключ» к этому образу: «Да, я хочу высказать (выскажу ли, сумею ли?) мою любовь к человеку, напоминая о его величии и о том, что велик он не только своим интеллектом и его производными, но и всей совокупностью тех качеств, которые в старину называли душой <...> Может быть, писательство, страсть творчества потому и овладели мной, что я инстинктивно хотел понять и выразить (для себя прежде всего) не то внешнее, что видел и как будто „знал“, но то скрытое — тайну жизни, изъясняясь, может быть высоким стилем, которую я чувствовал за всем и во всем, что нас окружает в мире, — люди, горы, звезды, сказания и легенды, что движет саму жизнь» [7].

Контраст заурядной внешности и внутренней значительности

Органа автор подчеркивает с первых же строк: «На корме, правя рулем, сидел самый старший из них, степенно посасывая деревянную трубку, — коричневолицый, худой, кадыкастый старик, очень морщинистый, — особенно шея, вся изрезанная глубокими складками, и руки были под стать — крупные, шишковатые в суставах, покрытые рубцами и трещинами. Седой же. Почти белый. На коричневом лице выделялись седые брови. Старик привычно жмурился слезящимися, красноватыми глазами: всю жизнь приходилось смотреть на водную гладь, отражающую солнечные лучи <...>» [8. С. 2]. Этот же мотив контраста внешнего и внутреннего возникает в повести не раз и окончательно утверждается в легенде о происхождении нивхов: их родоначальник — самый слабый из трех легендарных братьев — средний, хромой от рождения. Но именно к нему явилась Великая рыба-женщина.

Орган подчеркнуто нетороплив, статичен. Он — прямая противоположность расторопному Момуну, эмоционально открытому, общительному; молчаливая сдержанность — ведущая черта старого рыбака, тем ярче его внутренняя жизнь. «Я был великим человеком! Это я знаю», — говорил он Эмрайину, прощаясь навсегда. И всем строем повествования автор подтверждает слова своего героя.

Нивх живет по высшим законам человеческой этики, а в пограничной ситуации он сделал все, чтобы уровень человеческого не снизить. Орган не потерял присутствия духа, первым отказался от воды в пользу младшего и, чтобы продлить жизнь другим, решил покинуть лодку — умереть, никого не обеспокоив своим уходом. Прощаясь, он завещал сыну быть выше судьбы: «<...>на то она и судьба—хочешь покоришься, хочешь нет. Раз нам конец — кому-то можно и самому поторопить судьбу, чтобы другие повременили. Сам подумай, а вдруг пути откроются, пустишься из последних сил, и земля будет уже на виду, и не хватит нескольких глотков воды душу дотянуть, разве разумно, разве не обидно будет?» [8. С. 26]. И последние его слова: «Вы еще подержитесь, там еще есть немного воды...» [8. С. 27]. Айтматовскую повесть интересно сопоставить с рассказом М. Шолохова «Семейный человек» (1925). В сходной ситуации паромщик Микишар вынужден сделать иной выбор: спасая младших детей от голодной смерти, он убивал старших. А выжившим младшим «гребобстно» с отцом «за одним столом исть».

Тайна духовной жизни Органа отражается в его снах-воспоминаниях о рыбе-женщине. Они отличаются особой таинственной эмоциональностью. В воспоминаниях о родном, изначальном проявляется, говорят психологи, «интимная, скрытая, неожиданная сторона природы <...>». Они — «квинтэссенция индивидуальности» [9. С. 192]. Через сны-воспоминания Органа Ч. Айтматову успешно удалось «нащупать и выразить самое сокровенное в человеке» как таковом, а не только в герое повести. Мифологическая, философская символика их весьма существенна для уяснения смысла повести.

Воспоминания — суть переживания времени: прошлого в настоящем, причем в особом, эмоциональном ключе. Неслучайно в поэтике айтматовской прозы воспоминаниям героев отводится особая роль. Они вводятся в повествование для выявления «глубинного» в человеке; не растворяясь в настоящем, существуя как бы отдельно от общего потока жизни, воспоминания проясняют в нем скрытое, неявное, но самое существенное. Воспоминания-сны Органа воссозданы в толстовской манере.

Их своеобразие обусловлено также и сопричастностью некоему космическому времени, вечному мифу о происхождении жизни на земле,

а не только краткой жизни Органа. Интересно, что В. И. Ленин в «Философских тетрадах» зафиксировал суждение древнегреческого философа Анаксимандра, согласно которому человек произошел от рыбы [10. С. 233]. Мифологические образы женщины-рыбы, закрепленные в фольклоре, отражены и в современной литературе, например, в повести Ю. Шесталова «Когда качало меня солнце», во всемирно известном романе Г. Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».

Сны старика-нивха обнаруживают связь человека с мирозданием. Память-миф обнажает систему этих связей и длинным рядом ассоциаций обозначает сокровенную причастность стихийной живородящей материи человеческому разуму и людскому жизнеустройству.

В легенде о женщине-рыбе аккумулированы общечеловеческие культурные представления о женском начале мира, о природе и памяти. Параллелей можно провести немало, в том числе с произведениями советской литературы. Так, упомянем философский по своему содержанию образ фацелии в одноименной поэме М. Пришвина, память-легенду в «Пастухе и пастушке» В. Астафьева, олицетворение памяти в поэме Е. Исаева «Суд памяти». Но возможны и более отдаленные типологические схождения. В этом отношении интересна образная перекличка снов Органа и лирического героя стихотворения Поля Верлена «Мой сон, с которым я на „ты”». Приведем его не в поэтическом переводе, а в подстрочнике, который ближе к оригиналу и яснее показывает общность мотивов и эмоционального тона (подстрочник В. Гениса):

Я часто вижу этот странный и проникающий (в душу) сон  
О неизвестной женщине, и которую я люблю, и которая  
меня любит,

И которая всякий раз не совсем та же самая,  
Не совсем иная, и любит меня, и меня понимает.

Потому что она меня понимает, мое сердце прозрачное  
Для нее одной, увы! — прекращает быть проблемой  
Для нее одной, и усталость моего бледного лба.

Она одна умеет его освежить, плача.

Темна она, светла иль рыжа?—Точно не знаю.

Ее имя? Я вспоминаю, что оно нежно и звонко,

Как имена любимых, которых жизнь изгнала.

Ее взгляд похож на взгляд статуи,

И в ее голосе, далеком, спокойном и суровом,

Эхо дорогих голосов, которые умолкли.

Эти типологические «схождения» не позволяют нам расценивать сны Органа как образное отражение патриархального, наивного миро-воззрения, мироощущения. Прошлое, вызываемое ассоциативной памятью, дорого герою страстно переживаемым чувством к женщине-рыбе и неким неуловимым, неразгадываемым смыслом этого чувства: «Разве можно, чтобы во сне сбывались любые желания человека? От кого зависит это? Кто стоит и что стоит за этим, в чем смысл, какой тут сказ и к чему он?» [8. С. 11].

В раздумьях Органа мы слышим авторский голос: «Только во сне и в мыслях человек для себя бессмертен и свободен. Мечтой восходит он в небо и опускается в глубины морей. Тем и велик он, что до самого смертного часа думает обо всем, что есть в жизни. Но смерть не считается с этим, дела ей нет, что жил человек, какого величия в мыслях достиг и какие сны видел, каким он был, насколько и на что ума у него хватало — все ей нипочем. Почему так? Зачем так устроено на свете?» [8. С. 11—12]. Чувство живой сопричастности миру людей в его неизме-

римых и неосознанных далях придает особую масштабность самым сокровенным переживаниям Органа.

Для айтматовской идеи памяти как духовной связи поколений очень важен и складывающийся опыт Кириска. И в этой повести автор не отступает от принципа жестокой проверки молодого героя на прочность. Он ставит беспомощного одиннадцатилетнего подростка в безысходную ситуацию, как прежде восьмилетнего Мальчика на лесном кордоне, пятнадцатилетнего Султанмурата в степи. У последней черты, когда «вступают смерть и память в поединок» (К. Кулиев), побеждает память, дарующая жизнь. Ветер Орган, звезда Эмрайина, волны акимылгуны приводят умирающего от жажды, голода и тоски Кириска к пегому псу, над которым «вital голубой дымок угасающего на круче сигнального костра...». И у мальчика сложились «начальные слова его именной песни, с которой ему жить до конца дней» [8. С. 36]:

Пегий пес, бегущий краем моря,  
Я к тебе возвращаюсь один —  
Без аткычха Органа,  
Без отца Эмрайина,  
Без аки — Мылгуна.  
Где они, ты спроси у меня,  
Но сначала дай мне напиться воды... [8. С. 37].

Так утвердился в сознании Кириска закон человеческого родства, это даст ему опору перед лицом других испытаний. Вспомним признание В. Астафьева о живительной силе памяти, идущей из детства: «Память моя, ты всегда была моей палочкой-выручалочкой. Так сотвори еще раз чудо — сними с души тревогу, тупой гнет усталости, пробудившей угрюмость и отравляющую сладость мучительного одиночества! И воскреси, — слышишь! — воскреси во мне мальчика, дай успокоиться и очиститься возле него!» [11. С. 441].

Итак, мотив памяти как структурный элемент прозы Ч. Айтматова выявляет свойственное писателю отношение к миру, пафос которого — в стремлении прочувствовать и художественно обосновать великую силу включенности человека в бытие, единство личного и общечеловеческого. Ч. Айтматов убежден, что этические заветы предков, закрепленные в поэтическом сознании народа, его трудовых навыках, наследуются новыми поколениями; память не существует вне духовной жизни, культуры, а забвение может быть преодолено только совестью и любовью. О том, что основанием памяти является чувство, говорили и древние мыслители. Аристотель, посвятивший специальный трактат памяти и воспоминаниям, размышлял: «<...>память должна быть в знании, коль скоро она есть удержание знания. Но это невозможно, ибо память — в душе» [12. С. 421—422].

Идея памяти в творчестве Ч. Айтматова является безусловной нравственной ценностью, без которой нельзя представить духовную жизнь современника.

#### Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Айтматов Ч. Повести и рассказы. Фрунзе, 1971.
2. Белинский В. Собрание сочинений. М.; Л., 1955. Т. 8.

3. Лит. газ. 1976. 12 мая.
  4. *Айтматов Ч.* В соавторстве с землею и водою... 2-е изд. Фрунзе, 1979.
  5. Москва. 1979. № 8.
  6. Лит. Киргизстан. 1988. № 11.
  7. Лит. газ. 1979. 9 авг.
  8. *Айтматов Ч.* Пегий пес, бегущий краем моря//Роман-газета. 1977. № 17.
  9. *Додонов Б.* Эмоция как ценность. М., 1978.
  10. *Ленин В. И.* Философские тетради//Полн. собр. соч. Т. 29.
  11. *Астафьев В.* Собрание сочинений: В 4 т. М., 1979. Т. 1.
  12. *Аристотель.* Собрание сочинений: В 4 т. М., 1978. Т. 2.
-

В. Е. ВОЙТОВ

**ОНГИНСКИЙ ПАМЯТНИК. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ**

Древнейшие памятники письменности Монголии — рунические надписи на стелах древнетюркского времени — имеют длительную историю изучения. Однако, несмотря на то, что тексты их неоднократно издавались и комментировались как своеобразное явление древнетюркской культуры, эти памятники современными тюркологами освещены слабо. Между тем комплексное культуроведческое изучение стел и археологических ансамблей, в состав которых они входят, открывают новые перспективы их интерпретации и определения места в формировании и бытовании культуры кочевых племен Центральной Азии во второй половине I тыс. н. э. [1. С. 318—324; 2. С. 58—62].

Онгинский кульгово-поминальный комплекс в Монголии уже почти сто лет привлекает к себе внимание исследователей. Филологи многих стран занимались проблемой его датировки и идентификации с историческими лицами на основании довольно плохо сохранившейся рунической надписи на каменной стеле. Однако подробных описаний памятника в литературе практически нет.

Цель настоящей статьи дать наиболее полные сведения о местонахождении, планировке и сохранившихся элементах Онгинского комплекса и на основе имеющихся переводов рунической надписи и фактов китайских летописей предложить новый вариант его датировки и принадлежности.

Памятник находится на территории Убурхангайского аймака МНР, в 17 км к югу от Уянга сомона (бывш. монастырь Сайн-нойона), расположенного при слиянии Онгин-гола с его правым маловодным притоком р. Таримал. Поминальный комплекс сооружен посреди неширокой долины, в 300 км к югу от правого берега ручья Мааньт. Северная сторона долины в этом месте ограничена невысоким хребтом Мааньт-ула, восточная — сопками Хуш-ула.

Памятник был открыт в 1891 г. участником Орхонской экспедиции Н. М. Ядринцевым, который записал тогда в своем дневнике: «У подножия горы Маниту (от монг. Мааньт-ула. — В. В.), на открытой долине, увидели подобие обелиска... Памятник... оказался выдающимся и именно искомым памятником, с руническим письмом. Он стоял на юг, на двух боках его имелись рунические письмена и наверху, в полукруге, — символический знак, присущий и другим тукюэским могильникам и изображающий нечто похожее на букву „Я” (козловидная тамга. — В. В.). Часть столба уже начинала выветриваться... он был покрыт птичьим пометом, поэтому нужно было его очищать. У подножия памятника видны были врытые плиты, сам он стоял в гранитной

подставке, как можно догадаться, в черепахе. В 15 шагах от памятника на юг находились четыре гранитные статуи, изображающие сидящие фигуры, как всегда, без голов... Около лежало несколько обломков гранита. Статуи были сильно попорчены» [3. С. 43].

Н. М. Ядринцев сделал эстампажи надписей и фотоснимки некоторых изваяний и передал их руководителю Орхонской экспедиции акад. В. В. Радлову, который по возвращении в Россию включил эти материалы в первый выпуск своего «Атласа» [4]. В 1893 г. Д. А. Клеменц также снял эстампажи надписей, однако сведений о состоянии всего ансамбля в его полевых записях нет [5. С. 270]. В 1895 г. В. В. Радлов опубликовал отпечатанный текст и первый перевод Онгинской надписи [6. С. 246—252], а репродукция второго ретушированного оттиска надписи появилась в третьем выпуске «Атласа» [7].

В 1909 г. на памятнике работала экспедиция Финно-Угорского общества — Г. И. Рамstedт и С. Пяльси. Они вновь эстампировали надпись, сделали множество фотографий и впервые сняли план комплекса. В 1911 г. С. Пяльси опубликовал отчет о работе экспедиции [8]. В 1949 г. была издана его новая редакция [9] и воспоминания Г. И. Рамstedта, впоследствии также переиздававшиеся [10]. Нам не удалось познакомиться с этими публикациями, и потому описание работ финских ученых излагается по новейшему изданию, посвященному памяти С. Пяльси [11], а также по публикациям Э. Трыярского и П. Аалто, в которых использованы как изданные материалы, так и фотографии и рукописи Г. И. Рамstedта и С. Пяльси, в 1970 г. поступившие в архив Финно-Угорского общества из семьи О. и К. Доннер [12. С. 413].

Финские исследователи называют Онгинский памятник «Тарималийн-хушо», или «Таримальская могила» [12. С. 417], что более соответствует его местному названию (в научной терминологии так и не за-

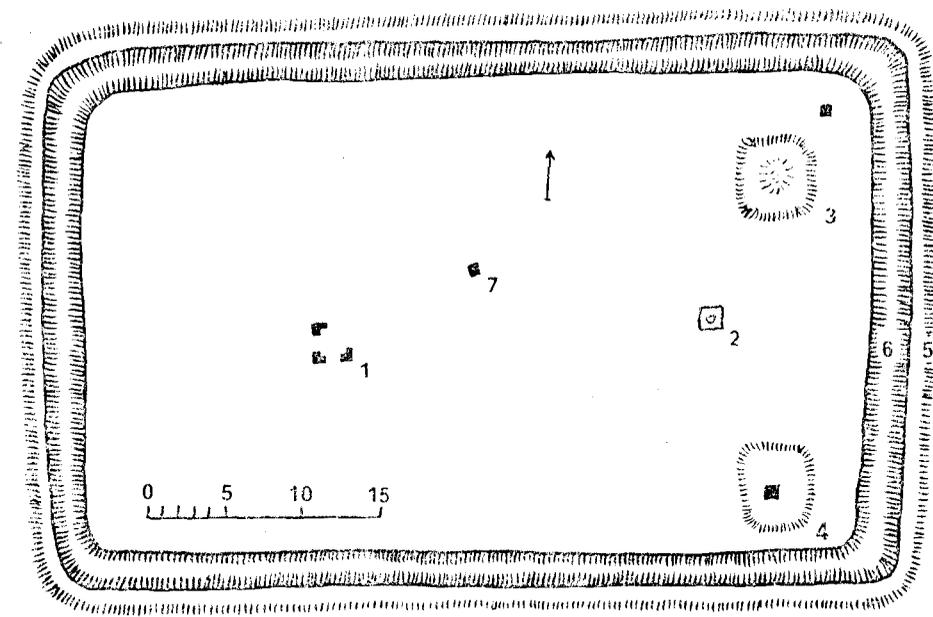


Рис 1. План Онгинского памятника (по С. Пяльси)

крепившемуся). Судя по плану [11. Табл. 10], этот мемориальный комплекс представлял собой вытянутый с запада на восток замкнутый прямоугольник со слегка закругленными углами, образованный внутренним рвом и внешним валом (рис. 1, 5—6). В западной части центральной площадки изображены три камня, стоявшие прежде по углам каменного четырехплитового ящика (рис. 1, 1), однако местонахождение плит или их обломков не показано. Финские ученые сфотографировали изваяние барана и четыре статуи людей [11. Рис. 80—82], хотя на плане отметили только одну, не входящую в эту группу статую (рис. 1, 7). Нет на плане и знаменитой стелы на каменной черепахе, по поводу которых они писали: «Этот камень был значительно погружен в землю, и, чтобы увидеть надпись, которая была частично покрыта песком, и прекрасное основание камня в форме черепахи, мы стали очищать подножие лопатой», причем оказалось, что стела была разбита на несколько кусков [12. С. 415, 417]. Уникальная фотография черепахи с утраченной головой опубликована Э. Трыярским [13. Рис. 16].

Чрезвычайно важным фактом, долгие годы оставшимся без должного внимания, является открытие финскими учеными базы для второй стелы, хотя, по их словам, «оказалось невозможным обнаружить сам по себе камень, который на ней стоял. Базовый камень был широкий и хорошо сделан» [12. С. 417]. Это квадратная гранитная плита с размерами сторон  $145 \times 150 \times 143 \times 148$  см, на поверхности которой изображена фигура «распластанной» черепахи, а в центре вырезано прямоугольное отверстие ( $43 \times 28$  см) для крепления основания стелы. Плита располагалась в восточной части центральной площадки (рис. 1, 2), причем С. Пяльси отметил, что голова черепахи на плите была ориентирована на запад [11. С. 130. Рис. 79]. В северо-восточном и юго-восточном углах площадки на плане даны две небольшие квадратные насыпи, где были найдены обломки кирпичей и черепицы. В центре северного холмика обозначена круглая воронка, а у его северо-восточного угла — стоячий камень; такой же камень изображен и в центре южного холмика (рис. 1, 3—4).

По словам Э. Трыярского и П. Аалто, «одна из фотографий Пяльси сохранила на своей обратной стороне пояснение — „Таримальская могила; первый столбовой камень с уйгурской надписью и знак”» [12. С. 417]. Этот балбал с рунической надписью и козловидной тамгой, стоявший в начале протянувшегося к востоку ряда камней, был эстампирован, сфотографирован и измерен (его высота—93 см), однако на плане С. Пяльси его нет (рис. 2, 6) [11. Рис. 83]. Финские путешественники были последними из европейцев, кто видел балбал на его первоначальном месте.

До середины 1920-х годов научные изыскания на Онгинском памятнике не проводились, и именно в эти годы он подвергся очередному разрушению. Местные предания гласят, что ламы, искавшие здесь сокровища, выкопали серебряные пластины, конские черепа, части конской упряжи и обломки глиняных сосудов, а орнаментированную плиту ящика-«саркофага» разбили и сбросили в вырытую на его месте яму. Только сильный ветер, сопровождавшийся снежной бурей, заставил лам прекратить дальнейшие поиски; внезапную перемену погоды они приняли за проявление гнева богов [14. С. 167]. Как бы там ни было, но именно в то время с поверхности памятника исчезли обломки стелы, большая черепаха, некоторые изваяния людей, а на их месте появились многочисленные ямы.

В 1926 г. зимовавший в верховьях Онгин-гола П. К. Козлов посетил урочище «Тараэлэн-хушо» (искаженное «Тарималийн-хушо»), где

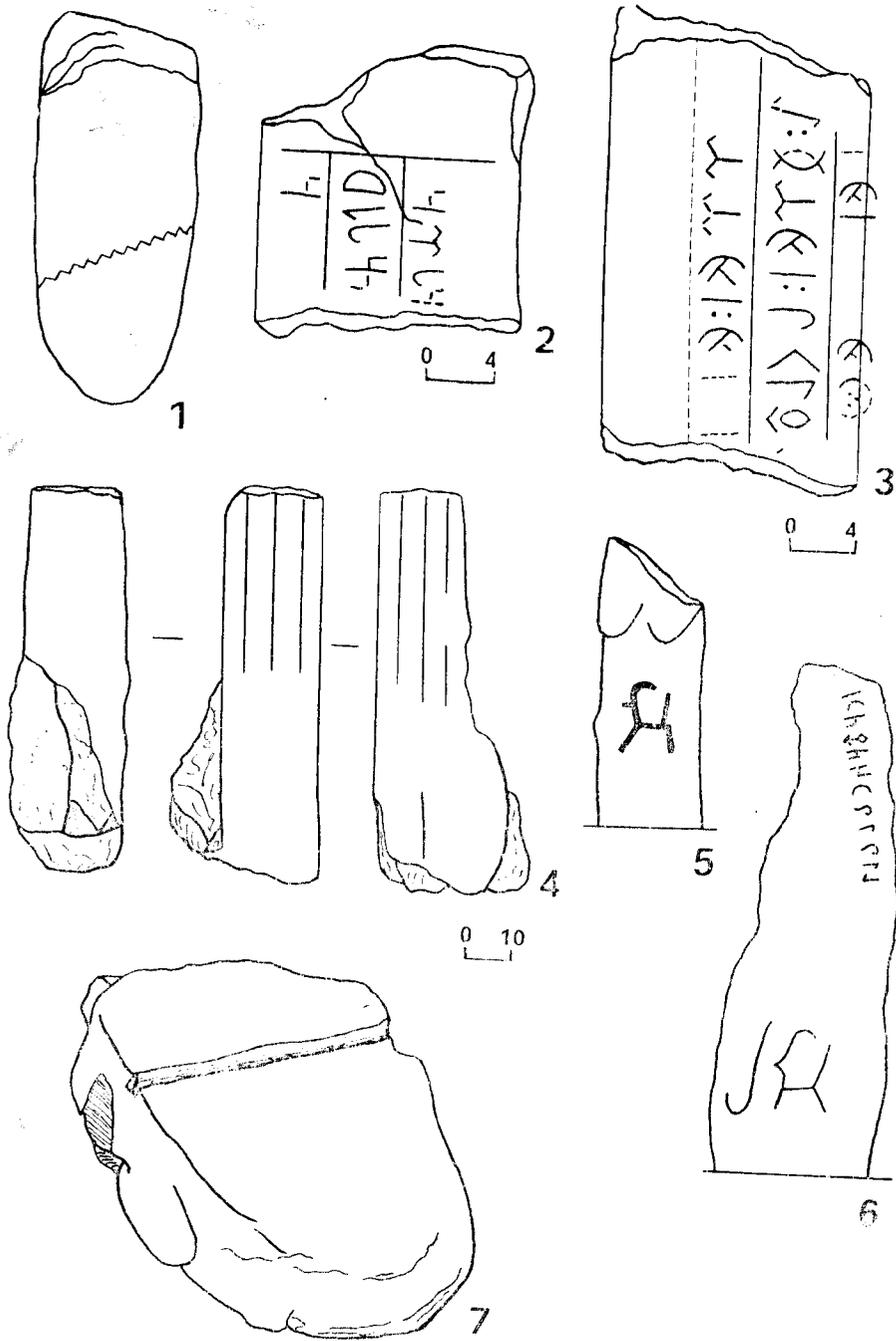


Рис. 2. Стелы, балбалы, черепаха:

1—основание малой Онгинской стелы (по Э. Трыярскому); 2—4—малый, средний и большой обломки стел из музея г. Арвайхэра; 5—изваяние 7 с Онгинского памятника (по В. В. Радлову); 6—балбал с Онгинского памятника (по С. Пяльси); 7 — большая черепаха с Онгинского памятника (по Э. Трыярскому)

«оказался ряд гранитных человеческих фигур, очевидно, стоявших на могилах. Сейчас эти фигуры представляют печальное зрелище, все они разбиты и изуродованы...». Он увидел только три статуи людей и две — баранов, а также «край гранитной плиты, обрушившейся в яму, вырытую, по-видимому, недавно. На ровном месте, несколько в стороне, лежит большая прямоугольная плита серого гранита (с отбитыми краями) с прекрасно сохранившимся орнаментом. От площадки, где стоят все эти фигуры, к востоку, по направлению к горам (Хуш-ула.—В. В.), вытянуты в линию вертикально поставленные невысокие столбики из кремнистого сланца» [15. С. 117]. П. К. Козлов сделал ряд фотографий. Однако ни одна из них не была опубликована.

Вновь Онгинский памятник привлек к себе внимание ученых лишь в 1962 г., когда по взаимной договоренности между Академиями наук МНР и ПНР в Монголию отправился польский ученый Э. Трыарский. С 28 сентября по 7 октября, посетив Центральный, Булганский, Архангайский и Убурхангайский аймаки, Э. Трыарский обследовал несколько памятников, в том числе и Онгинский, отснял свыше 400 фотографий и кинофильм [13. С. 122]. В одной из своих статей он писал: «Несмотря на опустошение Онгинского памятника, его каменная черепаха (большая, скульптурная. — В. В.) выжила до настоящего времени. Она теперь выглядит жалкой и примитивной» (рис. 2, 7) [13. С. 130]. Э. Трыарский снял новый план памятника и сфотографировал две статуи баранов и три каменные человеческие фигуры [13. Рис. 18—20; 14. Рис. 11—13, 25].

Особое внимание Э. Трыарского привлекла загадочная скульптура, с которой в свое время Н. М. Ядринцев писал: «Статуя казалась стоящей на коленях и держала в руках странный овальный предмет, напоминающий огромный пест или опрокинутый овальный сосуд, но во всяком случае это не была ни чаша, ни ступа, так как отверстия в верхней овальной части не было признака. Значение этого предмета мы не могли разгадать» [3. С. 43]. По словам Э. Трыарского, это был «относительно большой по величине предмет в сравнении с сидящей фигурой, как я сейчас думаю, сосуд, возможно, — ступка» [13. С. 132. Рис. 20; 11. Рис. 80 (right)], высотой 32 см [14. С. 166. Рис. 11 (left)].

3 октября 1962 г. польский исследователь обнаружил три небольших фрагмента стелы, на одном из которых сохранилось несколько рунических знаков, а на другом — козловидная тамга [14. С. 161; 16. С. 629]. Директор краеведческого музея г. Арвайхэра Ж. Намхайдагве, которому он рассказал о своей находке, обещал в ближайшее время перевезти обломок с надписью в музей и в свою очередь сообщил, что незадолго до этого под орнаментированной плитой на Онгинском памятнике он нашел 37 фрагментов керамического сосуда серовато-черного цвета, которые включил в экспозицию [14. С. 167].

В 1969 г. Ж. Намхайдагва и акад. Б. Ринчен прислали Э. Трыарскому фотографии и рисунки двух обломков стел с руническими надписями (условно назовем их большим и маленьким), хранящиеся в музее этого города. Где был найден большой фрагмент, Б. Ринчен не указал, а директор музея сообщил, что маленький обломок был подобран им 10 марта 1968 г. примерно в 300 м от Онгинского памятника. По его предположению, «камень незадолго до этого, возможно, в 1967 г., был перемещен сюда неизвестными людьми». Несмотря на то, что буквы на камнях были прописаны искажившей их до неузнаваемости белой краской, Э. Трыарским они были приняты за обломки «драгоценной стелы Онгинского памятника». На опубликованной фотографии Б. Ринчена большой камень был изображен с двух сторон [16. Рис. 45].

В 1987 г. автором статьи и монгольским археологом Д. Баяром проведены поиск и ревизия древнетюркских поминальных памятников в Хангайской зоне МНР. В течение нескольких дней исследователи работали в музее г. Арвайхэра и на Онгинском комплексе [17]. Однако это обследование мемориала позволило внести лишь незначительные уточнения в опубликованную Э. Трыярским планировочную схему. Прямоугольник вала и рва, ориентированный продольной осью с запада на восток, отклоняется к северо-востоку и юго-западу на 15°. Размеры памятника по внешним границам расплывшегося вала составляют 68×48 м; ширина вала 5 м, высота—до 0,15 м; ширина рва 5—7 м (при глубине до 0,25 м). С восточной стороны вал имеет проход шириной 3 м, за которым на протяжении 980 м насчитывается 166 стоящих и лежащих камней. Балбал с надписью и тамгой не обнаружен.

Поверхность памятника хорошо задернована, особенно в понижениях рва и в многочисленных воронках, оставленных грабителями. В западной части центральной площадки, на месте находившегося здесь прежде ящика из четырех плит, видна большая, окруженная отвалом земли овальная яма глубиной до 0,7 м. В ее северо-западной части торчит верхушка углового крепежного камня — одного из тех, что показаны на плане С. Пяльси. В центре площадки виднеется несколько ям различных размеров и глубины, в которых обнаружены обломки кирпичей и черепицы, а также неизвестное прежним исследователям изваяние торса человека (рис. 3, 4). В обширной воронке на восточном краю площадки найдена нижняя часть упомянутого изваяния. В 1909 г. здесь находилась плита-подставка под вторую стелу, а в настоящее время на северо-восточном краю ямы стоит гранитный столбик серого цвета без каких-либо изображений. К югу и северу от ямы видны плоские земляные насыпи неопределенной формы с воронками в центре. В северо-восточном углу площадки, на границе с окружающим ее рвом, стоит еще один низкий гранитный столбик без изображений, отмеченный и на плане С. Пяльси.

В южной части площадки находится сохранившаяся со времен Н. М. Ядринцева группа изваяний, расстояние между которой и стоявшей здесь тогда стелой, по его словам, составляло 15 шагов. Сейчас в этом промежутке видны лишь воронки, в одной из которых, возможно, имеются обломки знаменитой стелы и черепаха. Из упоминаемых Н. М. Ядринцевым и финскими учеными четырех статуй людей П. К. Козлов и Э. Трыярский видели только три; все они сохранились до настоящего времени.

Изваяние 1 описано П. К. Козловым и Э. Трыярским [15. С. 117; 14. С. 167. Рис. 11 (right)]. Как и все остальные фигуры, оно высечено из светло-серого гранита и очень сильно повреждено: голова утрачена, туловище разбито на две части на уровне пояса, отбиты обе руки, — от левой сохранилась только лежащая на колене ладонь и манжета рукава, правая прижата к груди. Сидящий человек с большим животом одет в длиннополый с широкими треугольными отворотами на груди халат, скрывающий скрещенные (правая поверх левой) ноги. На правом боку и сзади слева видны две круглые выпуклые сумочки — каптаргаки (рис. 3, 1). Высота статуи 0,84 м, ширина плеч 0,6, толщина камня — до 0,5 м.

Изваяние 2 также сильно повреждено, — утрачена голова, отбиты руки (от предплечий), сколы на коленях. Сзади и по бокам двумя желобками намечен узкий пояс. Перед фигурой на земле находится большой овальный предмет, верхняя часть которого сбита крупными сколами (рис. 3, 3). Высота статуи 0,7 м, ширина плеч 0,42, толщина

— до 0,47 м. Именно это изваяние привлекло внимание Н. М. Ядринцева и Э. Трыарского своей необычной иконографией, однако аналоги ему имеются и на других древнетюркских поминальных ансамблях Монголии.

Точно такая же фигура, с большим стоящим на земле «овальным предметом», сохранилась на памятнике Их-Хушот, сооруженном в честь полководца Кули-чура. Небольшие сильно поврежденные статуи сидящих на поджатых под себя ногах людей с сосудами на поддонах в правой руке выявлены на Мухарском комплексе в долине р. Толы и на памятнике Цаган-Обо I сооруженном в честь Тоньюкука, причем последнюю можно увидеть только на фотографии С. Пяльси [11. Рис. 68 (right)]. Великолепно изваянная фигура сидящего человека, который держит за узкое горлышко стоящий на его правом колене сосуд типа среднеазиатских афтоба, обнаружена В. Л. Котвичем в 1912 г. на памятнике Кюль-тегина [18. С. 70]. Своеобразная поза и явно выраженная форма крупных сосудов для хранения жидкостей у трех фигур позволяют утверждать, что «овальные предметы» изваяний Онгинского и Их-Хушотского памятников — это не что иное, как кожаные бурдюки или глиняные корчаги для вина или кумыса, а сами статуи изображают «виночерпиев».

Изваяние 3 представляет собой фигуру сидящего человека (голова утрачена), обеими руками прижимающего к груди неопределенной формы предмет. По талии двумя резными линиями намечен широкий пояс (рис. 3, 2) [14. Рис. 11 (middle)]. Высота фигуры 0,63 м, ширина плеч 0,45, толщина—до 0,47 м. Изваяние 4, найденное в 1987 г., по иконографии аналогично предыдущему, только меньших размеров и не имеет пояса (рис. 3, 4). Высота статуи 0,51 м, ширина плеч 0,33, толщина—до 0,30 м. Среди груды камней, у которой стоят эти изваяния, в 1987 г. были найдены три обломка маленькой сидящей фигуры № 5 — голова, торс и нижняя часть; первоначальная высота фигуры составляла 0,45—0,50 м (рис. 3, 5).

На фотографиях финских исследователей видна еще одна обезглавленная статуя № 6 (близкая по размерам к изваяниям 2 и 3), левая рука которой лежит на колене, а правая прижата к груди (рис. 3, 6). Статуя утрачена. В «Атласе древностей Монголии» помещен рисунок грубо обработанного под человеческую фигуру стоящего камня без верхней части (№ 7); видны только локти прижатых к груди рук (?) и большая козловидная тамга под ними (рис. 2, 5) [4. Табл. 14, 3]. В настоящее время этот камень на памятнике отсутствует. Два высеченных из светло-серого гранита скульптурных изображения лежащих баранов очень сильно повреждены, — у них утрачены головы, а поверхности тел обезображены сколами и эрозией. Длина статуй соответственно 0,64 и 0,71 м (рис. 3, 7).

От ритуального ящика сохранились только два обломка плиты из мелкозернистого серого гранита, на лицевой стороне которых в невысоком рельефе (фон углублен) высечен сложный орнамент в виде растительных розеток, заключенных в большие квадратные рамки (рис. 4, 1) [19. С. 26; 20. С. 398; 14. С. 167. Рис. 14]. Целый угловой камень от этого ящика — высотой 0,72 м — лежит около группы изваяний (рис. 4, 5) [14. С. 166—167]. Аналогичные камни известны автору из памятников Тоглохын-тал II на р. Хойт-Тамир, Гун-Бурд на р. Керулен и Цаган-Обо I на р. Толе, причем на последнем лицевые стороны камней орнаментированы резными узорами.

Очень важной, на наш взгляд, следует считать находку в грудке камней двух упоминаемых С. Пяльси и Э. Трыарским обломков гранит-



Рис. 3. Каменные изваяния Онгинского памятника:

1 — изваяние 1; 2 — изваяние 3; 3 — изваяние 2; 4 — изваяние 4; 5—изваяние 5; 6—изваяние 6 (по С. Пяльси); 7—статуя барана.

ной базы под вторую стелу (толщина плиты 0,11—0,14 м) и навершия самой этой стелы (толщина плиты 0,18 м). На фрагменте задней части базы вырезаны шестиугольные панцирные пластинки черепахи, а на передней—слегка выступающая над плоскостью плиты округлая голова

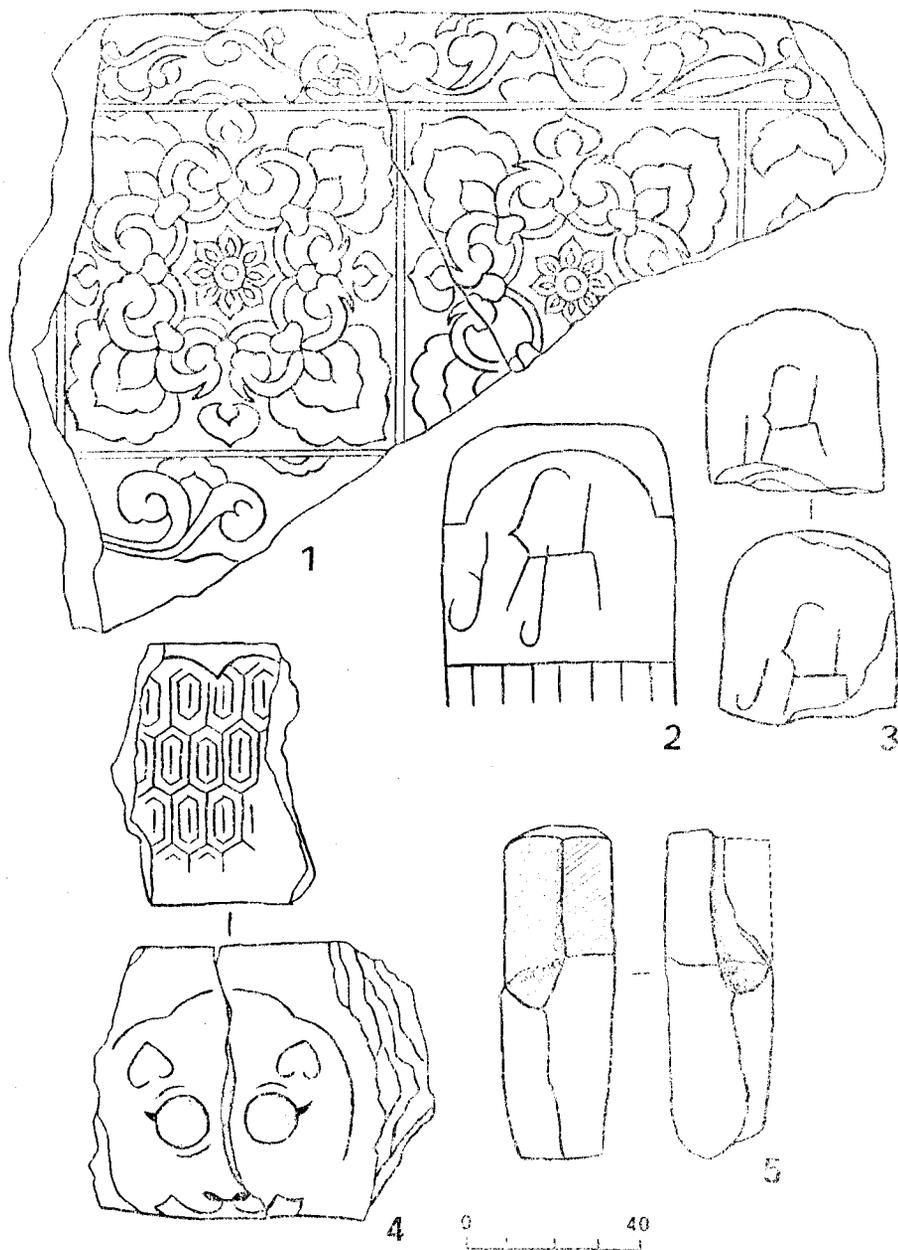


Рис. 4. Материалы по Онгинскому памятнику:

1—обломок плиты ритуального ящика; 2—навершие большой стелы (по С. Е. Малову); 3 — навершие малой стелы; 4 — обломки плиты-подставки малой стелы; 5 — угловой камень ритуального ящика

с большими выпуклыми глазами, резными волотообразными ушами, крупным широким носом и широко разинутой пастью (рис. 4, 4). Навершие стелы округлено сверху, и на его обеих широких плоскостях вырезаны козловидные тамги с диакритическими значками перед ними (рис. 4, 3).

Почти во всех статьях, связанных с монгольской поездкой 1962 г., Э. Трыярский идентифицирует известные ему фрагменты стел с Онгинской стелой. По нашим подсчетам, речь в них идет о пяти разных обломках.

1. Зафиксированное документально в 1987 г. навершие стелы. Э. Трыярский нашел обломок вмороженным в землю, поэтому, правильно замерив высоту и ширину ( $0,42 \times 0,39$  м), он неточно указал толщину (8,5 см) и посчитал, что тамга изображена только на одной его стороне. По мнению Э. Трыярского, этот фрагмент больше напоминает навершие знаменитой стелы из «Атласа» В. В. Радлова [4. Табл. 26, 1], нежели утраченное в настоящее время изваяние 7, изображенное там же на табл. 14, 3 [14. С. 167]. Поскольку у обеих стел верхние грани оформлены по-разному (у старой она уплощена, а у новонайденной округлая; тамга у первой помещена над надписью только на одной плоскости, а у второй — на обеих; начертания тамг различаются числом диакритических значков (ср.: рис. 4, 2 и 4, 3)), следовательно, оба навершия венчали разные стелы.

2. В 1962 г. Э. Трыярский обнаружил на памятнике разбитый на две части «центральный продолговатый камень» (размером  $0,71 \times 0,34 \times 0,15$  м), верхний конец которого был обломан, а нижний заужен и округлен [14. С. 166. Рис. 24]. Судя по рисунку, это была нижняя часть стелы, которая устанавливалась не на спине каменной черепахи, а вкапывалась непосредственно в землю (рис. 2, 1). К сожалению, нам не удалось обнаружить этот фрагмент на месте, поэтому сейчас невозможно сказать, подходил ли его излом к излому на новонайденном навершии, хотя ширина и толщина обломков 1 и 2 близки друг к другу.

3. В своей работе [14] Э. Трыярский отмечал, что еще один лежащий камень, на котором он заметил руническую надпись, имел размеры  $19 \times 16 \times 9$  см. В 1968 г. камень был поднят Ж. Намхайдагвой «в 300 м от Онгинского памятника» и перевезен в музей. Это обломок прямоугольной в сечении плиты беловато-серого мелкозернистого гранита длиной 0,16—0,17, шириной 0,16 м и толщиной от 8,5 до 10,3 см с гладко отполированными гранями. На одной широкой плоскости сохранилось несколько рунических знаков, расположенных по вертикали в три столбца; первоначально их было, по-видимому, четыре (рис. 2, 2). Обломок настолько отличается от всех прочих размерами поперечника и букв, расстояниями между буквами и строками, что о нем можно говорить, как о принадлежащем какому-то самостоятельному памятнику.

4. В музее г. Арвайхэра хранится еще один обломок стелы из светло-серого гранита с золотистыми включениями какого-то минерала (длина около 0,29—0,30, ширина 0,21 и толщина 0,16 м). Две его грани шероховатые, а две другие гладко отшлифованы, причем на одной узкой боковой грани расположены три столбца (четвертый полностью сбит) рунических знаков (рис. 2, 3). Э. Трыярский сделал вывод, что оставленный им в поле обломок 3 по цвету и материалу подходит к уже имевшемуся тогда в музее обломку 4 и что оба они являются частями знаменитой стелы. Ему удалось определить около 20 знаков и идентифицировать их с фрагментами строк 5, 6 и 7 главной стелы, где, судя по переводам С. Е. Малова и Дж. Клосона, говорится о двух восстаниях токуз-огузов против тюрюк-тугю [14. С. 167—168. Рис. 15, 26, 27]. На широкой лицевой стороне этой стелы, как известно, было 8 строк, тогда как на различных в поперечнике и месторасположении надписей обломках 3 и 4 первоначально было по 4 строки. Оба они отбиты только сверху и снизу; изначальные боковые грани сохранены. Именно поэтому их нельзя считать фрагментами стелы, открытой Н. М. Ядринцевым.

Обломок 4 (средний), место обнаружения которого не зафиксировано в музейной документации, и обломок 3 (малый) по размерам не подходят к новонайденному навершию и являются частями каких-то неизвестных стел.

5. Большой обломок стелы из музея, фотографию которого Э. Трыярскому прислал Б. Ринчен (без ссылки на место находки), также не имеет никакого отношения к знаменитой стеле. Он представляет собой нижнюю часть стелы из серого гранита, на двух прилегающих гранях которой плохо сохранилось по 4 столбца рунической надписи. Высота обломка 0,79 м, ширина одной грани с надписью от 0,18 до 0,22, ширина другой — 0,18 м, ширина гладких сторон 0,16—0,18 и 0,20—0,22 м; в нижней части обломка остался неровный выступ породы (рис. 2, 4). Э. Трыярский не упоминает этот фрагмент в числе увиденных им в 1962 г. и пишет о нем на основании фотографии 1969 г. Поэтому его вывод и в данном случае, как мы полагаем, ошибочен. Это еще один неизвестный древнетюркский памятник.

У нас нет оснований сомневаться в словах Э. Трыярского и Ж. Намхайдагвы, утверждавших, что обломок 3 был найден ими на Онгинском ансамбле, однако эти сообщения все же требуют тщательной проверки на месте. Только в случае нахождения новых фрагментов стел при проведении планомерных раскопок можно будет определить их первоначальное количество, пока же следует говорить о наличии здесь только двух стел. Утраченная главная стела с помощью специального шипа крепилась в поперечном пазе на спине монументальной скульптурной черепахи (рис. 2, 7), тогда как основание второй стелы (обломок 2) вкапывалось непосредственно в землю. Плита с изображением черепахи служила ей не опорой, а лишь декоративным обрамлением, выполняя определенную символическую функцию.

Известно, что мемориальных стел удаивались после смерти представители только высшей кочевой знати в государствах тюрков, уйгуров и кыргызов второй половины I тыс. н. э. В настоящее время наука располагает всего семью древнетюркскими стелами. Одна из них датируется временем Первого каганата (551—630), а остальные относятся ко Второму каганату (682—744). По внешнему виду и способу установки стелы можно разбить на три группы: 1) стоящие на каменных черепахах, со скульптурными драконовыми навершиями (Бугутская — в честь Таспар-кагана (ум. 582); Хушо-Цайдам II — в честь Кюль-тегина (ум. 732); Хушо-Цайдам I — в честь Бильге-кагана (ум. 734); 2) стоящие на черепахах, но без драконовых наверший (обе Онгинские); 3) стоящие на простых подставках без драконовых наверший (Цаган-Обо I — в честь Тоньюкука (ум. 720-е гг.); Их-Хушот — в честь Кули-чура (ум. нач. 730-х гг.)).

Важнейшим атрибутом древнетюркских поминальных ансамблей, определяющим их каганский статус, являются фигурные навершия стел (I группа). Исключение составляет памятник Хушо-Цайдам II, имеющий драконовое навершие, хотя Кюль-тегин и не был каганом. Черепаха-подставка полагалась ему, как и каждому члену каганского рода, а драконового навершия он удостоился за выдающиеся воинские заслуги перед государством. Стелы 3-й группы (без наверший и черепах) устанавливались лицам, не принадлежавшим к каганскому роду Ашина. Тоньюкук, пожизненно носивший титул «бойла-бага-таркан», происходил из знатного тюркского рода Ашидэ, а Кули-чур, который командовал западным крылом тюркской армии, был главой союзников — тардушей. Из этого можно сделать вывод, что Онгинские стелы 2-й

группы (с черепахами, но без фигурных наверший) принадлежали родственникам каганов Второй тюркской династии.

Попытки определить имя героя главной Онгинской стелы предпринимались уже не раз. В. В. Радлов и С. Е. Малов связывали ее с именем Ильтерес-кагана, А. Н. Бернштам — с именем Капаган-кагана, а Дж. Клосон — с именем полководца Алп-Элетмиша. Наиболее признанной в настоящее время является последняя версия.

Рунический текст из 12 вертикальных строк на этой стеле располагался на двух сторонах — стк. 1—8 на широкой западной (?) грани, стк. 9—12 — на узком южном (?) ребре, причем над последними помещался дополнительный текст из 7 коротких горизонтальных строк. Судя по переводу Дж. Клосона, в надписи упоминаются имена трех каганов Второй тюркской династии — Ильтереса, Капагана и Бильге, а также трех человек, связанных с ними семейными узами: отца — Элетмиша-ябгу, старшего сына — Ышбара Тамган-чура-ябгу и младшего сына — Алпа-Элетмиша, носившего титул Бильге Ышбара тамган-таркан [21. С. 177—192].

События в надписи излагаются следующим образом: в стк. 1—3 коротко рассказывается история тюрков вплоть до возвышения Ильтереса; в стк. 4 перечисляются имена и титулы героев надписи; в стк. 5—8 описываются события, связанные с двумя восстаниями токуз-огузских племен; в стк. 9 на узком ребре (по С. Е. Малову, стк. 0а, 1 [22. С. 10]) повествование ведется уже о самом авторе надписи — Алп-Элетмише и от его лица. Чрезвычайно сжато и с большими утратами текста здесь говорится о взятии им города К., а в стк. 10 (0а, 2) — о походе против «двух Этиг» (?). В стк. 11 (0а, 3) Алп-Элетмиш обращается с призывом к своим сыновьям и младшим братьям хранить верность Бильге-кагану подобно его отцу — шаду Элетмишу, носившему ранее титул «ябгу» и верному прежним каганам, поскольку и сам Алп-Элетмиш «вырос для государства Капагана и Ильтереса» (стк. 4). Заключительная стк. 12 (0а, 4) основного текста написана Алп-Элетмишем уже по поводу смерти его отца, наступившей в 7-м месяце «года Дракона» (по С. Е. Малову — 728 г.), или точнее — «года Овцы» (по Дж. Клосону — 731 г.).

«Год Овцы» в пределах Второго тюркского каганата соответствует 683, 695, 707, 719, 731 и 743 гг. Однако упоминание имени Бильге-кагана в стк. 11 снимает все даты до 716 г. (года начала его правления) и после 734 г. (года его смерти), т. е. остаются только две даты — 719 и 731 гг. — как наиболее вероятное время смерти Элетмиша-ябгу и сооружения Онгинского мемориального ансамбля со стелой. Дж. Клосон настаивает на последней дате исходя из предположения, что автор надписи был хорошо знаком с надписью Тоньюкука и даже пользовался ею как «шпаргалкой» [21. С. 183], а также «был одним из гостей, которые присутствовали на похоронах Кюль-тегина», где и «позаимствовал идею композиции памятника для своего отца, умершего совсем недавно» [21. С. 192]. Вместе с тем ансамбль в честь умершего в 732 г. Кюльтегина был закончен в 733 г., следовательно, о копировании его планировки применительно к Онгинскому мемориалу, сооруженному в память о человеке, умершем в 731 г., не может быть и речи.

В преамбуле к переводу Онгинской надписи С. Е. Малов вслед за В. В. Радловым отмечал, что это «один из старых памятников» [22. С. 8], а Л. Н. Гумилев считает, что «памятник был поставлен вскоре после 716 г.» [23. С. 272]. Онгинский мемориальный комплекс действительно является старейшим датированным памятником в рамках Второго тюркского каганата. На наш взгляд, главный герой надписи Элетмиш-

ябгу умер в «год Овцы», но не в 731, а в 719 г., следовательно, именно в этот и следующий за ним год был создан Онгинский поминальный ансамбль и на нем установлена стела с большой надписью.

Кем же были Элетмиш-ябгу и его сыновья, чьи имена, представленные в Онгинской надписи, не встречаются больше ни в каких источниках?

Разрешить этот вопрос можно только комплексно, коррелируя данные письменных и археологических источников. В своей датировке Дж. Клосон опирался лишь на камнеписные тексты, не имея возможности ознакомиться с планировкой памятников, составными частями которых они являются. Не зная же структуры ансамблей, строившихся, несмотря на различия в отдельных элементах, по единому архитектурному замыслу начиная с эпохи Первого тюркского каганата (Бугутский памятник), можно легко ошибиться в определении их датировки по аналогиям. То же самое можно сказать по поводу «шпаргалок», которыми якобы пользовался автор Онгинской надписи. Тексты мемориальных и триумфальных надписей тюрками, уйгурами, а позже кыргызами составлялись по определенному стандарту, также известному со времени Бугутской надписи.

Сверка китайских письменных источников и рунических текстов позволяет все абстрактные персонажи Онгинской надписи отождествить с конкретными историческими лицами и даже выявить их генеалогические связи (таблица).

Прямое сличение текстов позволяет утверждать, что средний брат Ильтерес-кагана Дусифу (или Дусипо=Дуси-бег) из китайских летописей и Элетмиш-ябгу Онгинской надписи — одно и то же лицо. В правление Ильтереса (682—691) он получил звание «ябгу» и был назначен главнокомандующим более престижного восточного (тёлиского) крыла тюркской армии. С. Г. Кляшторный предполагает, что один из упоминаемых в Чойрэнской и Онгинской надписях мятежей «семи бегов огузов» произошел в начале правления Ильтерес-кагана (до 687 г.) и главную роль в его подавлении сыграл «...его средний брат» [24. С. 99], хотя, по всей видимости, именно после ликвидации этого мятежа Дусифу получил имя-титул Элетмиш-ябгу.

После смерти Ильтереса на царский трон сел его младший брат Мочжо, известный с этого времени как Капаган-каган (691—716). Одновременное упоминание в Онгинской надписи разных по достоинству титулов «ябгу» и «шад» применительно к Дусифу-Элетмишу можно объяснить тем, что Капаган лишил его присвоенного Ильтересом звания «ябгу» и после подавления очередного восстания токуз-огузов назначил «восточным шадом» (стк. 5—8). В Чойрэнской и Онгинской надписях отражена длинная цепь восстаний против господства тюрков-тугю одного из крупнейших племенных образований группы теле, опираясь на военную мощь которых тюрки издавна «геройствовали в пустынях севера» [25. С. 301]. Доверие, которое оказывали Дусифу-Элетмишу его братья-каганы, поручая ему ликвидацию опаснейших очагов внутренних беспорядков, свидетельствует о недюжинных полководческих способностях этого человека.

Дополнительные сведения относительно принадлежности Дусифу-Элетмиша к каганскому роду дают археологические материалы. Во-первых, только будучи представителем правящего рода Ашина, он имел безусловное право на такой сакральный атрибут, как подставка для стелы в виде черепахи. Во-вторых, на навершии Онгинской стелы нет изображения дракона, так как Дусифу-Элетмиш не был каганом. В-третьих, на ее широкой грани над стк. 1—8 вырезана тамга в виде

Таншу (по Бичурину)	Разные рунические тексты	Онгинская надпись (по Клосону)
------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ИЛЬТЕРЕСА —  
ПОСЛЕ 682 г.

Каган «из младших своих братьев дал Мочжо достоинство Ша/д/, а Дусифу достоинство «Шеху», т. е. ябгу с. 266 Имя «ябгу» — Дусифу	«Мой отец-каган... дал устройство народам тѣлис и тардуш и назначил тогда ябгу и шада» КТб. 13—14 Имя «ябгу» не названо	«Я /Алл-Элетмиш/... сын Элетмиша-ябгу стк. 4 Имя «ябгу» — Элетмиш
--	---	---

ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ КАПАГАНА —  
ПОСЛЕ 691 г.

Каган «поставил Дусифу старшим/восточным/, Гудулуева сына Могюя /Могильяна/ младшим Ча-/западным шадом/» с. 270 Дусифу-ябгу стал восточным (тѣлиским) шадом	/слова Могильяна/ «я 19 лет был шадом» /тардушского крыла/ Ха. 9 Дусифу не упомянут	«Среди бегов огузов семь мужей стали нам врагами. Мой отец... затем выступил на стороне его Величества... /Враги были разбиты, каган/ дал ему титул шад» стк. 5—6 «Мой отец-шад...» стк. 8 Элетмиш-ябгу стал шадом восточного крыла
---	--	---

ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ БИЛЬГЕ —  
716—719 гг.

Шады и ябгу не упоминаются	«С моим братом Кюль-тегином и с двумя шадами я приобрел...» КТб. 27 Имен шадов нет, но один из них — Кули-чур тардушский, западный шад, а другой — Элетмиш, восточный шад	/Вы, мой отец-шад Элетмиш-ябгу/ «...отделились от моего могущественного /храброго кагана/ в 7-й месяц года Овцы и ушли», т. е. умерли стк. 12
----------------------------	---	--

фигуры повернутого влево козла, идентичного козлам на стелах Бильге-кагана и Кюль-тегина, но с двумя дополнительными диакритическими значками. Дж. Клосон заметил, что тамги на стелах из Хушо-Цайдама и Онгинской хотя и похожи, но «не идентичны, а это, кажется, дает законную возможность предположить, что лицо, упомянутое в Онгинской надписи, было членом того же рода, что и Кюль-тегин, но не непосредственно из его семьи» [21. С. 177]. Тамга на навершии Онгинской стелы (рис. 4, 2) — это герб семьи Дусифу-Элетмиша.

Судя по Онгинской надписи (согласно Дж. Клосону), у Элетмиша-ябгу было несколько сыновей (стк. 4 и 11), причем в ней названы имена и титулы двух: старшего сына Ышбара Тамган-чура-ябгу и среднего — Алл-Элетмиша, имевшего титул Бильге Ышбара тамган-таркан. Имя Тамган-чура, который одновременно был «ышбаром» и «ябгу», можно отождествить с одним из известных по письменным источникам исторических лиц только в том случае, если исправить допущенную в переводе неточность и заменить в стк. 4 слова «младший брат» на «двоюродный младший брат». Подобная замена вполне допустима, так как слово «ipi» в рунических текстах может обозначать любого представителя

младшего поколения ближайших родственников (младших братьев, племянников, внуков, а также младших по возрасту двоюродных братьев). В таком случае старшим сыном Дусифу-Элетмиша в действительности являлся Алп-Элетмиш, который имел законное право поместить на памятной стеле не только жизнеописание отца, но и краткий рассказ о себе (стк. 9—12).

Идентичные по начертанию тамги, которые изображены на малом навершии стелы и на утраченном балбале (ср.: рис. 4, 3 и 2, б), являются гербом одного из сыновей Дусифу-Элетмиша. Общее сходство этих тамг с тамгой на большой стеле свидетельствует о родстве их владельцев, однако утрата одного крючковидного знака (в виде «перевернутой трости» — по Дж. Клосону) на тамге малой стелы и балбале указывает на обособление семьи ее владельца от семьи отца. Таким человеком, исходя из упоминания в стк. 11 Онгинской надписи его собственных сыновей, был старший сын Дусифу-Элетмиша — Бильге Ышбара тамган-таркан Алп-Элетмиш.

Что касается его двоюродного брата Ышбара Тамган-чура-ябгу, то им был средний сын Ильтерес-кагана, родной брат Бильге и Кюльтегина, известный в китайских источниках как Кутлуг-ябгу («Гудушеху», юношеское имя которого было «Панькюе-дэлэ», т. е. Панкюльтегин) [25. С. 277—278]. Звание «ябгу» Кутлуг получил от брата Бильге-кагана и, по-видимому, отеснил на второй план в управлении тѣлским крылом войска своего престарелого дядю Дусифу-Элетмиша, все еще продолжавшего носить звание «шада». Можно предположить, что изваяние 7 (рис. 2,5) с тамгой, аналогичной изображенным на стелах Бильге-кагана и Кюльтегина, было установлено на поминальном памятнике Дусифу-Элетмиша или самим Кутлугом-ябгу или кем-то из его могущественных братьев.

Письменные источники ничего не сообщают о последних годах жизни Дусифу-Элетмиша, но, может быть, именно он упоминается в одной из орхонских надписей в списке присутствовавших в 716 г. на церемонии интронизации Бильге-кагана должностных лиц высшего ранга. Они располагались в следующем порядке: «Позади /на западе/ тардуш-беги с Кули-чуром во главе, а за ними шадапыт-беги; впереди /на востоке/ тѣлис-беги с апа-тарканом... /Кутлугом-ябгу?/ во главе, а за ними шадапыт-беги; /направо, на юге/ .../?/... тамган-таркан и Тоньюкук бойла-бага-таркан во главе, а за ними буюрук-/беги/...;/налево, на севере/... во главе „внутренних“ буюруков Кюль-Эркин, а за ними буюруки» (Ха. 13, 14). Как видим, в надписи перед титулом «тамган-таркан» утрачено имя носившего его человека. Вполне возможно, что им был Дусифу-Элетмиш, который, лишившись звания и соответствующей ему должности, до конца дней сохранял почетный титул «таркана — хранителя печати».

Положение, при котором «тамган-таркан» поставлен не только вместе, но и перед Тоньюкуком, советником и полководцем Ильтереса и Капагана, можно объяснить следующим образом: Тоньюкук после смерти Капаган-кагана подвергся опале со стороны Бильге-кагана и Кюльтегина. Он не был казнен вместе с наследниками и приближенными Капагана только потому, «что дочь его Пофу была женою Могиляна», а «народ уважал и боялся его». Тоньюкук был отстранен от важнейших государственных дел и «сослан в свое поколение» [25. С. 273], но при этом, судя по цитированной надписи, он сохранил довольно высокий пост «главы буюруков-бегов». Не исключено, что Бильге-каган предусмотрительно приставил своего дядю Дусифу-Элетмиша к опальному,

но многоопытному политику Тоньюкуку с целью предупредить его сепаратистские шаги.

В 7-й месяц «года Овцы» Дусифу-Элетмиш «отделился от могущественного/храброго кагана/... и ушел», т. е. умер, а его старший сын Алп-Элетмиш «прославил его погребальные церемонии и устроил могильный участок» (стк. 12) — Онгинский мемориальный ансамбль. Сооружая его, Алп-Элетмиш в начале вереницы балбалов, олицетворяющих врагов Дусифу-Элетмиша, поставил в качестве личного дара [26. С. 252—255] камень со своей тамгой и автографом: «балбал Ышбаратаркана». Произошло это в 719—720 гг.

На Онгинской стеле имеется дополнительная надпись, полного перевода которой в статье Дж. Клосона нет. Дж. Клосон лишь отмечает, что, судя по эстампажам В. В. Радлова, которые он использовал для работы, эта «надпись из 7 коротких горизонтальных строк, скорее всего, процарапана, чем вырезана над четырьмя строками основной надписи» [21. С. 177], что качество оттисков не вполне удовлетворительно для точного перевода, а затем приводит перевод только двух первых строк дополнительной надписи [21. С. 189—190]. Однако согласно переводу С. Е. Малова в ней далее упоминается весьма важная дата—«год Дракона». Но, поскольку она не была переправлена Дж. Клосоном на «год Овцы», как это сделано в стк. 12 основного текста, данный перевод С. Е. Малова можно считать бесспорным.

Текст гласит: «Моему отцу надпись на камне /я/ сделал для /его/ памяти. Мой каган, мой дорогой отец, мудрый мой отец! В Дракона год, мудрый славный муж, благородный хан мой отец—умер» [22. С. 11]. В этой фразе есть слова, смысл которых вызывал принципиальные разночтения при расшифровке сильно поврежденной надписи: «Мой каган, мой дорогой отец» и «благородный хан мой отец». Скорее всего, они обращены к Алп-Элетмишу, который, судя по его титулу — Бильге Ышбара тамган-таркан, был правителем (ышбаром=ханом) одного из племен, входивших в состав древнетюркской конфедерации.

Алп-Элетмиш умер в «год Дракона» (728), и поминальные церемонии устраивал уже кто-то из его сыновей. На восточном участке семейного Онгинского мемориала он установил малую стелу с тамгами Алп-Элетмиша и плитой-подставкой с грубым резным изображением черепахи, символизировавшим его принадлежность к правящему роду, а на стоящей плите деда поверх боковой надписи отца «процарапал» 7 строк посвященной ему дополнительной надписи, как бы завершив ее этим печальным итогом.

В заключение следует отметить, что комплексное культуроведческое изучение материалов, связанных с Онгинским памятником, позволило определить его место в ряду аналогичных древнетюркских мемориальных сооружений Центральной Азии. Только на основе анализа и синтеза разрозненных сведений письменных и археологических источников, изучавшихся прежде изолированно друг от друга, можно и впредь братья за разрешение многообразных явлений истории и культуры древних тюрков. Онгинский поминальный памятник таит в себе еще немало загадок и нуждается в полном археологическом обследовании.

#### П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> Кляшторный С. Г. Современные проблемы исследования памятников древнетюркской письменности // Проблемы современной тюркологии. Алма-Ата, 1980.

- <sup>2</sup> Кляшторный С. Г. Древнетюркская цивилизация: диахронические связи и синхронические аспекты // Сов. тюркология. 1987. № 3.
- <sup>3</sup> Ядринцев Н. М. Отчет и дневник о путешествии по Орхону и в Южный Хангай в 1891 г. // Сборник трудов Орхонской экспедиции. Спб., 1901. Вып. 5.
- <sup>4</sup> Атлас древностей Монголии. Спб., 1893. Вып. 1, табл. 14, 2—4; 26.
- <sup>5</sup> Клеменц Д. А. Краткий отчет о путешествии по Монголии за 1894 г. // Изв. Импер. Академии наук. Спб., 1895. Т. 3, № 3.
- <sup>6</sup> Radloff W. Die alttürkischen Inschriften der Mongolei. Spb., 1895.
- <sup>7</sup> Атлас древностей Монголии. Спб., 1896. Вып. 3, табл. 83, 5.
- <sup>8</sup> Pälsi S. Mongolian matkalta. Otava; Helsinki, 1911.
- <sup>9</sup> Idem. Valkoiset arot: Muistoja Mongolian matkalta. Otava; Helsinki, 1949.
- <sup>10</sup> Ramstedt G. J. Seven journeys eastward 1898—1912. Bloomington, 1978.
- <sup>11</sup> Memoria saecularis Sakari Pälsi: Aufzeichnungen von einer Forschungsreise nach der Nördlichen Mongolei im Jahre 1909 nebst Bibliographien. Helsinki, 1982. (Пользуясь случаем, искренне благодарим В. В. Волкова за возможность ознакомиться с этой работой).
- <sup>12</sup> Tryjarski E., Aalto P. Two Old Turkic monuments of Mongolia // Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki, 1973. 150.
- <sup>13</sup> Tryjarski E. On the archaeological traces of Old Turks in Mongolia // East and West. N. S., Roma, 1971. Vol. 2, N 1—2.
- <sup>14</sup> Idem. The present state of preservation of Old Turkic relics in Mongolia and need for their conservation // Ural-Altäische Jahrbücher. Wiesbaden, 1966. Vol. 38.
- <sup>15</sup> Козлов П. К. Путешествие в Монголию. 1923—1926 гг. М., 1949.
- <sup>16</sup> Tryjarski E. Zur neueren Geschichte des Ongin-Denkmal's // Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients. N. S. Berlin, 1974.
- <sup>17</sup> Войтов В. Е., Баяр Д. Новые археологические открытия в Хангае // Информ. бюлл. / Междунар. ассоц. по изучению культур Центр. Азии. М., 1989. Вып. 16.
- <sup>18</sup> Kotwicz W., Samoilovitch A. Le monument turc d'Ikhe-Khuchotu en Mongolie Centrale // Rocznik Orientalistyczny. Lwow, 1928. 4.
- <sup>19</sup> Козлов П. К. Три года по Монголии и мертвый город Хара-Хото. М.; Л., 1927.
- <sup>20</sup> Он же. Русский путешественник в Центральной Азии // Избр. тр.: К 100-летию со дня рождения (1863—1963). М., 1963.
- <sup>21</sup> Clouston G. The Ongin inscription // Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. London, 1957. N 3—4.
- <sup>22</sup> Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.; Л., 1959.
- <sup>23</sup> Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 1967.
- <sup>24</sup> Кляшторный С. Г. Древнетюркская надпись на каменном изваянии из Чой-рэна // Страны и народы Востока. М., 1980. Вып. 22.
- <sup>25</sup> Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М., 1950. Т. 1, ч. 1.
- <sup>26</sup> Кляшторный С. Г. Храм, изваяние и стела в древнетюркских текстах // Тюркологический сборник. 1974. М., 1978.

## СИГЛЫ (ПО МАЛОВУ):

- КТм — малая надпись Кюль-тегина;  
 КТб — большая надпись Кюль-тегина;  
 Ха — надпись Бильге-кагана;  
 О; Оа — Онгинская надпись;  
 Тон — надпись Тоньюкука.

## ОНОМАСТИКА

Ш. М. СААДИЕВ

КАТЕГОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ  
АНТРОПОНИМОВ

За последние годы изучению антропонимии тюркских народов уделяется определенное внимание. Эти вопросы рассматривались на I Всесоюзной конференции по тюркской ономастике (23—25 сентября 1986 г., г. Фрунзе), республиканских конференциях по проблемам азербайджанской (28—29 ноября 1986 г., 15—16 апреля 1988 г., г. Баку) и узбекской ономастики (27—29 мая 1987 г., г. Гулистан).

Все четко дифференцируемые виды антропонимов объединяются в соответствующие категории, и определение их имеет не только научно-теоретическое, но и несомненное практическое значение. В данной статье предпринята попытка дифференциации антропонимических категорий, характерных для азербайджанского народа.

Выделяются обязательные антропонимические категории, фиксируемые в документах и являющиеся официальными, формула которых, как и в русской антропонимии, состоит из трех элементов — фамилии, имени, «отчества».

*Фамилии* — это юридически значимые личные именованья, передаваемые по наследству от родителей к детям [1. С. 3]. Все они являются сравнительно новой категорией, вызванной к жизни государственными, социальными институтами.

Фамилии могут быть как нестандартными (непроизводными), так и стандартными (производными). Первые получили незначительное распространение: Гашгај, Дилбаз, Тәһмасиб и т. д. Стандартные фамилии, наиболее широко распространенные, состоят из основ фамилии и формантов. Для образования их используются форманты *-лы/ -ли/ -лу/ -лү*, *-ов/ -ев/ -јев*, *-ски/ -нски/ -јски* (для мужчин), *-ова/ -ева/ -јева*, *-скаја/ -нскаја/ -јскаја* (для женщин), *-задә*, *-и*.

Формант *-лы/ -ли/ -лу/ -лү* считается исконным и выступает в четырех вариантах. Такая четырехвариантность обусловлена типом гласных конечного слога основ.

Форманты *-ов/ -ев/ -јев* и *-ски/ -нски/ -јски*, заимствованные из русского языка, трехвариантны. Варианты обоих формантов зависят от конечных звуков основ. Вариантом *-ов* характеризуются фамилии, основы которых оканчиваются на согласные: Ејвазов, Мәммәдов, Шейхов. Однако к двусложным основам с полугласным *j* в конце присоединяется *-ев*: Азајев, Гачајев (ср. с трехсложными основами фамилий Элибәјов, Гулубәјов). Вариант *-јев* принимает все основы с конечными гласными: Пашајев, Шәфијев и т. д. Вариант *-ски* присоединяется к основам с конечными согласными. Вариант *-нски* осложнен соединительным согласным *-н*, который появляется после основ с конечными гласными *ы, и,*

у, а, э. При этом конечные гласные основы *ы, и, у* сохраняются. тогда как *а* и *э* переходят в гласный *и*: Губински (ср.: Губа), Кишлински (ср.: Кешлэ) и т. п. В фамилии Илисујски обнаруживается вариант *-јски*, осложненный соединительным полугласным *ј*, следующим за гласным *у* (ср.: Илису).

Форманты *-задә, -и* имеют персидское происхождение, причем *-задә* этимологически связывается с *заидә* 'рожденный, рожденная' — причастной формой глагола *заидән* 'рождать, рождаться' и соответствует азербайджанским *оглу* (<огул 'сын') и *гызы* (<гыз 'дочь'); формант *-и* передает значение «относящийся, относящаяся».

Широко распространены фамилии с формантом *-ов/-ев/-јев*, а фамилии с формантом *-и* единичны и встречаются, как правило, у выходцев из Южного Азербайджана. Промежуточное место по употребительности занимают фамилии с формантами *-лы/-ли/-лу/-лү* и *задә*. Сравнительно мало также фамилий с формантом *-ски/-нски/-јски*.

Основами фамилий служат в основном личные имена дедов современных азербайджанцев, впервые принявших фамилии. В основах фамилий Чаббарлы (Чэфэр) и Вәлијез (Әли) лежат имена дедов драматурга Джафара Джабарлы и писателя Али Велиева.

Встречаются и фамилии, основу которых составляют имена отцов, что характерно для фамилий с формантом *-задә*. Имена отцов, часто в другом оформлении, т. е. с формами *оглу* и *гызы* записываются в паспортах и в графе для отчества: *Һүсејнзадә Мухтар Һүсејн оглу*.

Встречаются также фамилии, в основе которых лежат названия сел и городов, где родились люди, впервые принявшие фамилии с такой основой. Все они имеют форманты *-лы/-ли/-лу/-лү*: *Ханабадлы* (ср.: *Ханабад*), *Кәсәмәнли* (ср.: *Кәсәмән*), *Чалутлу* (ср.: *Чалут*) и т. д. Однако при образовании фамилий от названий сел и городов с тем же формантом указанный формант не присоединяется, поэтому фамилии типа *Салаһлы, Гәмәрли* полностью совпадают с географическими названиями и выступают как нестандартные.

Распространены фамилии с той же основой, в которых маркировался формант *-ски/-нски/-јски*: *Нахчывански, Шәкински, Дәдәлински* и т. д.

Встречаются и фамилии с общей топонимической основой, т. е. «парные», одна из которых маркируется азербайджанским формантом, а другая — русским: *Бәнәнјарлы~Бәнәнјарски* (ср.: *Бәнәнјар*).

Нередки и фамилии с апеллятивными основами. Основу ряда фамилий составляют слова, обозначающие занятия дедов, отцов, впервые принявших фамилии. Так, в основе фамилии *Мирзезадә (Әләжбәр)* *Мирзезаде Алекбер* лежит слово *мирзә* 'писарь'; дед носителя фамилии *Алекбера*, отца географа *Гафура Рашада Мирзезаде*, был писарем у одного из шемахинских ханов [2. С. 5]. К этой же группе относятся фамилии *Хәлифәзадә* (ср.: *хәлифә* 'помощник муллы в старых религиозных школах'), *Катибли* (ср.: *катиб* 'секретарь'), *Мискәрли* (ср.: *мискәр* 'медник'), *Зәркәрли—Зәркәров* (ср.: *зәркәр* 'ювелир').

Основа известной фамилии *Бакиханов* связывается с сочетанием *Бақы ханы* — «Бакинский хан». Таким образом, она указывает на происхождение носителей этой фамилии из рода бакинских ханов.

Азербайджанские фамилии, в зависимости от происхождения их основ, объединяются в следующие основные разряды: 1) фамилии с личными именами в основе, или отантропонимные. Они широко распространены; 2) фамилии с топонимами в основе, или оттопонимные; 3) фамилии, основу которых составляют нарицательные слова, — апеллятивные.

Для отантропонимных фамилий характерны форманты *-лы/-ли/-лу/* /-лу, -ов/-ев/-ев, -зада, -и, а для оттопонимных—как формант *-лы/-ли/* /-лу/-лу, так и *-ски/-нски/-јски*.

Иногда при образовании фамилий употреблялись различные форманты: Везирзадэ/Везиров Нэчэф бəј.

Наблюдаются случаи, когда родные братья носят «парную» фамилию — с одной основой, но с различными формантами.

Нередко в целом ряде фамилий встречаются одни и те же основы, которые дифференцируются с помощью тех или иных формантов: Начылы ~ Начызадэ ~ Начыјев ~ Начынски, Сэфэрли ~ Сэфэрзадэ ~ Сэфэров ~ Сэфэри и т. п.

*Личные имена* считаются древней антропонимической категорией, однако это не означает, что все они первичны. Азербайджанские личные имена, в которых нашли отражение различные периоды истории народа, развивались по-разному: одни употреблялись мало, другие вообще исчезали, третьи, широко распространившись, становились общеупотребительными.

Рассматривая личные имена как лексические единицы языка, многие авторы изучают их часто в структурно-семантической классификации, которая опирается на апеллятивы имен. По нашему мнению, апеллятивы большого числа имен относятся к азербайджанскому языку и являются исконно азербайджанскими, поскольку возникли на материале азербайджанского языка. Наряду с этим, не следует забывать, что некоторые личные имена, характерные для азербайджанцев, имеют апеллятивы в других языках. Это главным образом имена арабского и персидского происхождения. В результате выделяются азербайджанские личные имена, общие с арабскими и персидскими именами.

Некоторые имена арабского и персидского происхождения проникли в азербайджанский именник в готовом виде вследствие исторических контактов азербайджанцев с арабами и персами. Но есть еще и другие, возникшие на основе заимствованных апеллятивов в результате индивидуального творчества. Однако порой трудно провести грань между заимствованными и исконными личными именами подобной апеллятивной основы.

Значения одних личных имен, заимствованные апеллятивы которых сохранились в современном азербайджанском литературном языке, понятны почти каждому азербайджанцу. Значения же личных имен арабского и персидского происхождения, характеризующихся в этих языках соответствующими апеллятивами, понятны только лингвистам.

Личные имена арабского происхождения в азербайджанском именнике встречаются чаще, чем персидского. На лексический состав азербайджанских личных имен известное влияние оказывал прежде всего исламский ареопаг святых. Так в него вошли, например, имена членов семьи, родственников и сподвижников пророков Магомета: Нашым (прадед), Абдулла (отец), Эминэ (мать), Абас (дядя по отцу), Фатма (дочь), Хэдиэ, Аишэ, Зејнэб, Нафизэ (жены), Эмэр, Осман, Эли (халифы), Нэсэп, Нүсејн (сыновья халифа Али), Экбэр, Эсгэр (сыновья Гусейна) и т. д.; имена-топонимы святых мусульманского мира: Мэдинэ (гробница), Мэккэ (родина Магомета), Мина (гора близ Мекки), Нэчэф (селение близ Багдада, где находится гробница пророка Али), Хейбэр (крепость, которой овладел Али), Мэшэди (г. Мешхед в Иране) и т. п.; имена, связанные с мифологическими образами: Нүрү, Мэлэк, Пэри и т. д.

В составе азербайджанских личных имен представлены и древне-

еврейские, или библейские, имена, проникшие в язык через мусульманскую религию: Гарун, Давуд, Данил, Чэбрајыл, Ибраһим, Иса, Исаг, Исмајыл, Исрајыл, Микајыл, Муса, Нух, Салман, Сулејман, Әјјуб, Јунус, Јусиф, Јагуб; Зүлейха, Мәрјам, Һэва.

Встречаются также арабские варианты греческих имен: Әрәстун (Аристотель), Әфлатун (Платон), Гејсәр (Цезарь), Искәндәр (Александр), Сократ.

В азербайджанский именник вошли имена древнеперсидских царей: Бәһмән, Исфәндијар, Рүстәм, Сөхраб, Сөјавуш, Фиридун, Әфрасијаб, Чәмшид, Хосров и т. д.

Эти имена, быстро распространившись, непрерывно смешивались с другими именами азербайджанского именника и становились уже исконными.

В нашу эпоху, начиная с 30-х гг., стали употребляться имена персонажей произведений классической и современной художественной литературы. Быстро заняли прочное место в азербайджанском именнике Ајдын, Күндүз, Огтај, Јашар, Алмаз, Күлкәз, Күләр, Севил, Солмаз, Һәјат — персонажи Дж. Джабарлы, а также Афтандил, Һамлет, Руслан, Тарјел, Амалја, Ајбәниз и т. п.

Одним из источников пополнения азербайджанского именника являются топонимы: Алтај, Араз, Аран, Көјчај, Гошгар, Казбек, Муған, Хәзәр, Шабран, Губа, Тәбриз, Шуша; этнонимы: Ајрум, Әрәб, Гыпчаг, Нугај, Оғуз, Ујгур, Чәркәз и т. д.

В азербайджанский именник вошли и двухсоставные личные имена, компонентами которых служат некоторые распространенные простые имена: Ибраһимхәлил, Пәринисә и т. д. Простые имена нередко выступают в качестве обоих компонентов, одни из которых участвуют в образовании целого ряда составных имен, а другие имеют ограниченное распространение. Например, имя Әли встречается в составе многих имен: Әлизаман, Әлимухтар, Оручәли, Маһмудәли и т. д., тогда как имя Рза употребляется сравнительно мало: Рзахәлил, Мәммәдрза и др.

Процесс возникновения «новых» имен в начале пятидесятых годов в известной степени способствовал национальной детерминации азербайджанского именника. Мужские имена: Азад, Алгыш, Алов, Алтун, Анар, Арха, Атәш, Ајаз, Бәхтијар, Будаг, Вүгар, Галиб, Гәләбә, Күнәш, Дөнмәз, Илгар, Ифтихар, Маһир, Уғур, Хошбәхт, Шөһрәт, Елнур, Елчин; женские имена: Ағча, Ајкүл, Ајтач, Аглаз, Гамәт, Гәндаб, Көјчәк, Гијамәт, Гумаш, Күлтач, Чәзибә, Дилшад, Инчә, Ипәк, Мајхош, Нүмунә, Сәдагәт, Севинч, Хошај, Чөһрә, Шадкүл, Шәфа, Елзәр, Елназ, Әндам и т. д.

Распространению подобных имен способствовали различные социальные, культурные факторы. Например, имена Шамо, Сачлы стали популярными после публикации исторического романа «Шамо» С. Рагимова. Однако необходимо отметить, что эти имена и ранее бытовали в народе.

Встречаются некоторые женские имена русского и западно-европейского происхождения: Ајидә, Афйна, Земфирә, Клара, Мадонна, Маја, Нина, Офелја, Рима, Тамара, Шура, Емма. Следует особо отметить, что аналогичных по происхождению мужских имен меньше — Марат, Феликс, Елтон.

К малоупотребительным именам относятся сравнительно «старые» женские имена, апеллятивы которых выражают отношение к женщине в прошлом: Агибәт, Бәсди, Галсын, Гызбәс, Гызбәсти, Гызгајыт, Гызјетәр, Гызтамам, Күлбәс, Күлбәсди, Күлгајыт, Күлјетәр, Күлтамам,

Гэмкул, Кәрәкмәз, Јетәр, Истәмәз, Кифајат, Лејсан, Оғланкәрәк, Сәрки, Сәрғикүл, Сәркиназ, Тале, Тамам, Тө'бә, Хәзан, Хәзанкүл.

В азербайджанском именнике последних десятилетий становятся непродуктивными также мужские сложные имена с компонентом арабского происхождения *abd* 'раб': Абдулваһаб 'раб Вахаба', Абдулрәшид 'раб Рашида', Абдулмәчид 'раб Меджида' и т. д. То же самое можно сказать об именах со вторым компонентом *гулу* в том же значении: Вәлигулу 'раб Вели', Чәфәргулу 'раб Джафара', Нијазгулу 'раб Нияза' и т. д.

Окказионально и употребление мужских сложных имен, первым компонентом которых являются слова *танры*, *худа*, *аллах* в значении «бог» и один из эпитетов бога *Халыг* 'творец': Танрыверди, Танрыверән, Танрыгулу, Худабахыш, Худаверди, Худаверән, Худавәнд, Худагулу, Худажар, Аллахверди, Аллахверән, Аллахгулу, Аллахјар, Халыгерди, Халыгерән, Халлыггулу, Халыгјар.

К непродуктивным также можно отнести мужские имена, первый компонент которых состоит из слов *очаг* и *пир* в значении «святилище»: Очагверди, Очагулу, Пирәли, Пирбаба, Пирбала, Пирвәли, Пирверди, Пирзада, Пирмәммәд, Пирмурад и т. д.

Встречаются и имена-неологизмы типа Совет, Сојуз, Октјабр, Коммунист, Кандидат, Капитан, Кнјаз, Крал, Јанвар, Феврал; Импернал, Олимпиада, Мотор, Трактор, Рајсовет, Пакет, Резин, Аспирин, Вишнә, Сестра и т. п. Подобные имена в азербайджанском именнике неустойчивы. Неустойчивы также некоторые имена с негативными смысловыми ассоциациями, поскольку апеллятивы их в азербайджанском языке имеют отрицательное значение: Диләнчи 'попрошайка', Чәллад 'палач', Зәлил 'страдалец', Зиндан 'темница', Интигам 'месты', Түстү 'дым', Фағыр 'жалкий', Әсир 'пленник', Гараваш 'служанка', Мүсүбәт 'бедствие', Мә'рәкә 'скандал', Налә 'воплъ, рыдание', Пәришан 'печальный', Тә'нә 'упрек', Ничран 'разлука' и т. д.

Разграничение личных имен по полу связано с лексической семантикой апеллятивов этих имен. Например, апеллятивами женских имен служат наименования драгоценностей и украшений (Биллур 'хрусталь', Брилјант 'бриллиант', Гызыл 'золото', Зүмрүд 'изумруд', Мәрчан 'коралл', Фирузә 'бирюза', Јагут 'яхонт'); названия цветов (Бәнәвшә 'фиалка', Гәнчә 'бутон', Гызылкүл 'роза', Занбаг 'тюльпан', Лалә 'мак', Рејһан 'базилик', Јасәмән 'сирень'); фруктов (Алма 'яблоко', Бадам 'миндаль', Гајсы 'абрикос', Килас 'черешня', Пүстә 'фисташка'); птиц (Көјәрчин 'голубь', Дурна 'журавль', Кәклик 'куропатка', Товуз 'навлин', Туту 'попугай'), а апеллятивы мужских имен являются обозначениями металлов (Дәмир 'железо', Полад 'сталь'); физических и моральных качеств человека (Баһадыр 'богатырь', Гәһрәмән 'герой', Мүбариз 'единоборец', Пәһләван 'силач', Гүнәр 'подвиг'); животных (Аслан 'лев', Бәбир 'леопард', пантера, Пәләнк 'тигр') и т. д.

В то же время зафиксировано около двухсот общих для обоих полов личных имен: Нәсрәт, Баһар, Бүлбүд, Чамал, Дурсун, Иззәт, Лачын, Мәһәббәт, Сәфа, Сәхавәт, Сөнмәз, Солтан, Хавәр, Хәндан, Шөвкәт, Ширин, Јадикар и т. д. Следует отметить, что наречение мальчика и девочки одним и тем же именем — тенденция сравнительно недавнего времени.

Целая масса женских имен арабского происхождения вошла в азербайджанский именник вместе с родовым формантом *-ә/јә*, выступающим в конце имен в двух вариантах. Женские имена с первым вариантом этого форманта противопоставляются мужским име-

нам, оканчивающимся на согласные: Валидэ~Валид, Забитэ~Забит, Камалэ~Камал, Сәлимэ~Сәлим, а со вторым вариантом — мужским именам, оканчивающимся на гласные *и, у, у*, причем последние две гласные переходят в *и*: Зәби~Зәбијә, Начи~Начијә, Гүдсү~Гүдсијә, Лүтфү~Лүтфијә, Үлвү~Үлвијә, Нуру~Нуријә. При помощи этого же форманта образуются некоторые новые женские имена от других женских имен: Ајнурэ~Ајнур, Биллурэ~Биллур, Зәрифэ~Зәриф, Зејтунэ~Зејтун, Рејһанэ~Рејһан, Улдузэ~Улдуз, Әсмајэ~Әсма, Минәјэ~Мина, Шәһријә~Шәһри. То же самое относится к мужским именам типа Мәдәдијә~Мәдәд, Әһмәдијә~Әһмәд, Мәммәдијә~Мәм-мәд.

Женские и мужские имена разграничиваются также по одному из компонентов: Нәнәкүл~Бабакүл, Аначан~Атачан и т. д.

Родным братьям и сестрам часто даются фонетически созвучные имена: Чабир—Сабир; родные сестры получают имена типа Зәрәнкиз, Фирәнкиз, Нурәнкиз, Дүрәнкиз или Күларә, Диларә и т. п. Под воздействием этой традиции, которая широко распространена в азербайджанских семьях, вошли в обиход личные имена типа Рабил, Расиф, Фамил, Шамир, Шофиг или Зафизә, Тәнзилә, Хәбирә, созданные в результате индивидуального творчества по аналогии с существующими именами Габил, Васиф, Шамил, Самир, Тофиг; Һафизә, Мәнзилә, Сәбирә.

«Отчества» у азербайджанцев выполняют функцию русских отчеств (Иванович, Матвеевич, Евгеньевич...), однако, в отличие от них, образуются при помощи сочетания имени отца в неопределенном родительном падеже с формами *оғлу* и *гызы* слов *оғул* 'сын' и *гыз* 'дочь'. Эти формы характеризуются наличием вариантов *-у, -ы* многовариантного аффикса принадлежности в третьем лице *-ы/-и/-у/-ү* (после слов с конечными согласными), *-сы/-си/-су/-сү* (после слов с конечными гласными): *башы* < *баш* 'голова', *дәфтәри* < *дәфтәр* 'тетрадь', *дајысы* < *дајы* 'дядя по матери', *нәвәси* < *нәвә* 'внук, внучка' и т. д., причем форма *оғлу* получена в результате редукции гласного *у* второго слога двусложного слова *оғул* 'сын' (ср.: *бурну* < *бурун* 'нос'): Мурад оғлу Хәлил 'Мурада сын Халил', Мурад гызы Нәркиз 'Мурада дочь Наргиз', Вәли гызы Маһирә 'дочь Вели Махира'.

В подлинном своем значении отчества как антропонимическая категория для азербайджанского языка не характерны. Однако в азербайджанской антропонимической системе в последнее время появляются и отчества, образуемые с помощью трехвариантного форманта *-ович/ -евич/ -јевич* (для мужчин) и *-овна/ -евна/ -јевна* (для женщин), который присоединяется к имени отца по аналогии с основой фамилий — личных имен с формантом *-ов/ -ев/ -јев*: Кәрим Ејвазович, Әһмәд Азајевич, Мухтар Абдуллаевич; Мина Садыговна, Хумар Бухсајевна, Зиба Хасыјевна. Такие отчества имеют узкий круг распространения, употребляются только в сочетании с личными именами.

Все рассмотренные антропонимические категории являются единными, общеупотребительными.

Встречаются и антропонимические категории, имеющие незначительное распространение. Бытовавшие в прошлом, они затем подверглись изменениям, а в настоящее время, вытесняясь и притесняясь официальными антропонимическими категориями, постепенно исчезают. К ним относятся лагабы и тахаллусы.

Возникновение лагабов — прозвищ — обуславливается различными причинами, например, Короғлу 'сын слепого'. Отец поэтессы Хур-

шудбану Натаван Мехдикули-хан Джаваншир был ханом, отсюда лагаб Хангызы 'дочь хана'.

Лагабы обычно употребляются как вторые имена людей, но при этом собственные имена часто практически утрачиваются. Например, у Муртуза Мамедова лагаб Бүлбүл, под которым выдающийся певец вошел в историю музыкального искусства.

Иногда лагаб превращается в тахаллус.

Лагабами раньше служили многочисленные эпитеты бога, пророков, религиозных деятелей. Бог имел лагабы типа Экбәр 'большой', Сәмәд 'всегда живой', Рәһман 'добрый', Ваһид 'единственный', пророк Магомед — Рәсул 'посланник', Мүрсәл 'посланный', Мустафа 'избранный' и т. д. Лагаб Руһулла — один из лагабов пророка Исы (Иисуса), Вәлијулла — один из лагабов первого предводителя шиитов — имама Али и т. д.

Лагабами считались и эпитеты с компонентом *дин* 'религия', указывающие на отношение их носителей к мусульманской религии: Әфзәләддин Хагани, Имадәддин Нәсими и т. д.

К лагабам относят и сочетания личных имен с атрибутами, имевшими в прошлом различные назначения.

Атрибуты перед личными именами обозначали реалии, физические свойства, приметы, черты характера, повадки: коса Абасгулу 'Абаскулу с редкой бородой', кечәл Гәсән 'плешивый Гасан', көр Вәли 'слепой Вели', готур Сәмәд 'чесоточный Самед', ахсаг Гулам 'хромой Гулам', пога Бахшәли 'пузатый Бахшали', зорба Рзагулу 'громоздкий Рзакулу', кирдик Зейнал 'круглый Зейнал', узунсаггал Гурбанәли 'бородач Гурбанали', сүпүркәсаггал Рәһим 'Рагим с распушенной бородой', гаракөз Хасы 'черноглазый Хасы', лоту Кәрим 'хитрец Керим', чүрүк Мәһди 'болтун Мехди', назы Агакиши 'капризный Агакиши', дәли Фәрһад 'безумный Фархад', Јаланчы Фәрзәли 'обманщик Фарзалы', кәләкбаз Мустафа 'плут Мустафа'; чүчә Нәчәфгулу 'цыпленок Наджафкулу', гузгун Сәфәрбәј 'коршун Сафарбек', сәрчә Чәфәр 'воробей Джафар', фәрә Гәмид 'курочка Гамид', дана Байрам 'телок Байрам', гојун Нәсир 'баран Насир', ешшәк Нуру 'осел Нуру', довшан Гасым 'заяц Гасым' и т. д.

Сочетания личных имен с подобными атрибутами, вызывающие в основном отрицательные ассоциации, широко распространены были в прошлом; со временем они почти исчезли из разговорной речи.

Выступают перед личными именами также атрибуты, указывающие на занятие, должность, отношение человека к местности, народности и т. д.: тачир Азад 'купец Азад', нөкәр Алы 'прислужник Алы', мөһтәр Заман 'конох Заман', јағсатан Күлүмәли 'продающий масло Гюлумали', дәлләк Әлирза 'парикмахер Алирза', бојагчы Мәһәммәд 'красильщик Магомед', башмагчы Ағабала 'башмачник Агабала', пинәчи Гафар 'сапожник Гафар', паландуз Экбәр 'седельный мастер Акбер', гумарбаз Иса 'картежник Иса', дәмрчи Мәммәд 'кузнец Мамед', зәркәр Муса 'ювелир Муса', фалчы Лејли 'гадалка Лейли', јасавул Мурад 'есаул Мурад', шәкили Шаһид 'шекинец Шахид', ермәни Бархудар 'армянин Бархудар'.

*Тахаллусы* (псевдонимы) впервые возникли как поэтические имена и, являясь своего рода «титолом», служили самоназванием поэтов, которые употребляли их в своих стихах—газелях, гошма. Тахаллусы, по существу, являются вторыми именами, заменяющими собственные личные имена, и выбраны по собственному усмотрению самими поэтами. Они прежде всего—результат индивидуального твор-

чества, мировоззрения, художественного вкуса. Анализ тахаллусов помогает проникнуть во внутренний мир поэта, больше узнать о его жизни и творчестве. Пример этому — тахаллус Насими поэта Имадедина Насими. Известно, что поэт Фазлуллах Наими после посещения соседних стран приехал в Ширван, где познакомился с молодым поэтом Сеидом Али и стал его другом. Сеид Али взял себе тахаллус Насими, близкий по смыслу и звучанию тахаллусу своего идейного наставника и учителя Наими.

В истории азербайджанской литературы известны многие поэтические тахаллусы. Некоторые из них имеют апеллятивную основу: Ибраһим *Аси*, Шихәли *Наиб*, Аббас *Сәһһәт*, Абдулла *Шаиг*, Микајыл *Мүшфиг*, Әлаға *Ваһид*, Нәби *Хәзри*, Мәдинә *Кулкун* и т. д.

Выделяются тахаллусы с вариантом *-и* форманта принадлежности *-и/-ви/-ји*: *Низами Кәнчәви*, *Нәсими Ширвани*, *Фәләки Ширвани*, *Гөвси Тәбризи*.

Встречаются также тахаллусы с антропонимными основами: *Һүсејн Ариф*, *Ағададаш Сүрәјја*.

Другие тахаллусы характеризуются наличием топонимной основы. Некоторые оттопонимные тахаллусы форманта не имеют: *Јусиф Ширван*, *Мәммәд Араз*. Однако во многих оттопонимных тахаллусах встречается формант *-лы/-ли/-лу/-лү*: *Мәммәд Аранлы*, *Әһмәдаға Муғанлы* и т. д.

Представлены некоторые тахаллусы с этнонимной основой, за которой следует форма *оглу* слова *огул* 'сын': *Азад Талышоғлу*, *Һүсејн Күрдоғлу*.

Как видно из примеров, со временем тахаллусы структурно изменяются; апеллятивные с вариантом *-и* форманта *-и/-ви/-ји* являются более древними, а оттопонимные тахаллусы начали распространяться лишь в прошлом веке, поэтому считаются сравнительно новыми.

Все тахаллусы индивидуальны, групповые встречаются редко. Примером такого тахаллуса может служить «Молланәсрәддинчиләр» 'молланасрединцы' — общее имя авторов, выступавших на страницах сатирического журнала «Молла Насредин».

Не следует смешивать литературные тахаллусы с другими антропонимами, употребляемыми поэтами в качестве тахаллусов. Антропонимы, рассматриваемые иногда как тахаллусы, выявляются в сочетаниях, где первые компоненты — личные имена, а вторые — либо антропонимные основы фамилий: *Сүлејман Рүстәм* (задә), *Әһмәд Чәмил* (задә), *Илјас Тандыг* (ов), *Чабир Новруз* (ов), *Рәсул Рза* (јев), *Фикрәт Гоча* (јев) и т. д., либо имя отца: *Мәммәд Раһим* (оглу), *Хәлил Рза* (оглу), *Рамиз Һејдәр* (оглу) и т. д. При этом вторые компоненты приведенных сочетаний получены в результате сокращения формантов фамилий *-задә*, *-ов/-ев/-јев* и формы *оглу* в имени отца.

Привлекает внимание также использование в качестве тахаллуса имени отца слитно с формой *оглу*: *Камран Дадашоғлу*, *Мә'суд Әлиоглу*, *Күлһүсејн Һүсејноғлу*, *Јусиф Самәдоғлу*, *Рүф'әт Зәбиоғлу*.

Тахаллусы имели не только поэты, но и прозаики, драматурги, ученые, однако только в том случае, если занимались поэзией. Например, драматург и философ Мирза Фатали Ахундов, прозаик и историк Абас-Кули ага Бакиханов писали также стихи, поэтому соответственно получили тахаллусы *Сәбуһи* и *Гудси*.

Со временем тахаллусы начали употреблять художники, журналисты и актеры.

Выделяются сценические тахаллусы, возникшие главным образом

в начале XX в. Они называются тахаллусами-фамилиями, т. к. структурно напоминают определенную разновидность фамилий: Эрблински (Һүсейн Хэлэфов), Сарабски (Һүсейнгулу Рзајев), Көчәрлински (Һәбиб бәј Кәримов) и т. д.

Сценические тахаллусы, как и некоторые фамилии, имеют топонимную основу, а формантами их тахаллусов являются *-лы/-ли/-лу/-лу, -ски/-нски/-јски*: Мир Сејфәддин Кирманшаһлы, Ибраһим Исфәһанлы, Сејфәддин Шилјански, Әһмәд Афдамски, Мәһди бәј Чуварлински и т. д.

Процесс распространения тахаллусов в настоящее время ослаб.

*Подписи* являются антропонимами, используемыми для указания авторства.

Выделяются литературные подписи, указывавшие на авторство тех или иных произведений. Одни подписи состояли из реальных антропонимов, другие полностью скрывали авторство.

*Криптонимы* включают в себя подписи, поддающиеся расшифровке или нуждающиеся в ней. В качестве криптограммы использовали заглавные буквы антропонимов: Рәшт — Рза Шаһвәләд Тифлисли, Мәса — Мәммәд Сәид Ордубади, Емерли — Микајыл Рәфили и т. д.

*Титулы* (мансабы), указывавшие на знатное происхождение, употребляли либо отдельно либо же в сочетании с антропонимами их носителей: Ибраһим хан Чаваншир, Чәһанкир бәј. Выделяются титулы правителей — шаһ, эмир, султан, аға, бәј, хан, духовенства — ахунд, шејх, сејид, имам, һачы, газы, мир и т. д.

Впоследствии функции титулов часто изменялись. Употребляясь перед антропонимами и после них, титулы утратили свое прямое значение и стали формой выражения уважения: *Сејид* Әзим Ширвани, *Мирзә* Әләкбәр Сабир, *Аға* Мәсин Ширвани, Абасгулу *аға* Бакыханов, Узејир бәј *Һачыбәјов* и т. д.

В настоящее время такими формами вежливого обращения служат *мүғллим* 'учитель' и *ханым* 'сударыня': Күлаға *мүғллим*, Зејнәб *ханым* и т. д.

*Куньи* в средних веках считались почетными именами. Если в сочетаниях Сәмәд Вургун и Мәдинә Күлкүн первые компоненты — это личные имена поэтов, а вторые — тахаллусы, то в сочетании Әбуллулла Кәнчәви (поэт XII в.) Әбуллуллаһ иногда принимается за личное имя, а иногда его считают лагабом или тахаллусом. На наш взгляд, Әбуллуллаһ — это кунья, означающая «отец бога»; личное же имя поэта неясно.

И в настоящее время в странах Ближнего Востока распространена форма вежливости, в которой, по правилам арабского языка, слова *әбу* 'отец' и *умм* 'мать' стоят перед именами сыновей: Әбу-Јусиф 'отец Юсифа', Умм-Јусиф 'мать Юсифа'.

*Насабы* обозначались сочетаниями слов *ибн* 'сын', *бинт* 'дочь' и имени отца: ибн-Салам 'сын Салама', бинт-Салам 'дочь Салама'.

*Нисбы* сходны с тахаллусами с топонимной основой.

В сочетаниях Низами Кәнчәви, Хагани Ширвани, Фәләки Ширвани, Баһар Ширвани, Мәктәби Ширвани отсутствуют личные имена поэтов — соответственно Илјас, Ибраһим, Мәһәммәд, Сејид Әли, Нәсрәддин, Нәчәфгулу. Не вызывает сомнения, что первые компоненты в приведенных сочетаниях — Низами, Хагани, Фәләки, Нәсими, Баһар, Мәктәби — являются тахаллусами. Однако и вторые — Кәнчәви, Ширвани — некоторые ученые считают тахаллусами. Но один человек не мог иметь одновременно два тахаллуса. Такие компоненты указывали на топонимы — названия сел, городов, традиционных местностей, откуда были родом выдающиеся личности. Они характеризовались формантом *-и/-ви/-ји* и противопоставлялись тахаллусам.

В последнее время нисбы смешивают с оттопонимными тахаллу-сами: Сејид Эзим *Ширвани*, Мәммәд хан *Шәкиви*, Зејналабдын *Марагаји* и т. д.

Возникновение, развитие и функционирование азербайджанских антропонимов, объединяемых в определенные категории, обусловлено историей азербайджанского народа, поэтому нам представляется необходимым установить антропонимические категории прошлого и провести сравнительный анализ с современными.

Антропонимические формулы в некоторые исторические эпохи подвергались влиянию антропонимических формул других языков благодаря этническим, культурным, экономическим контактам народов.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Суперанская А. В., Сулова А. В. Современные русские фамилии. М.: Наука, 1984.
2. Лузбашов Р. М. Мәшһур чоғрафијашунас Гафур Рәшад Мирзәзәде. Бақы, 1968.

Г. Ф. САТТАРОВ

## БАШКИРИЗМЫ В ТОПОНИМИИ ТАТАРИИ

Роль татарского компонента в формировании башкирского этноса отмечалась А. Х. Халиковым, Р. Г. Кузеевым, Р. Г. Фахрутдиновым и некоторыми другими учеными [1; 2]. Но при этом следует учитывать, что этот процесс был обоюдным и, как показывают исторические, топонимические и другие факты, башкирский компонент участвовал в этническом формировании казанских татар вообще и татар, представителей мензелинского говора татарского языка, в особенности.

В состав населения Волжской Булгарии входили отчасти и башкирские племена. А. Х. Халиков, ссылаясь на сведения Ибн Фадлана, Эль Балхи и Истахри, пишет, что башджортские племена жили к югу и юго-востоку от булгар; в IX—X вв. они еще поддерживали самые тесные отношения с Булгарией и, очевидно, нередко проникали в ее центральные районы [3. С. 35].

О том, что западные и, возможно, другие башкиры были подвластны Казанскому ханству, есть свидетельство в Никоновской летописи 1469 г. Очевидец присоединения Среднего Поволжья к Русскому государству, князь А. Курбский в числе языков Казанского ханства, кроме татарского, мордовского, чувашского, черемисского и вотяцкого, называет и башкирский. В период Казанского ханства в юго-восточном Закамье в бассейнах рек Зай, Ик и Белая находились кочевья башкир [4. С. 71].

Проживание башкирских родов и племен на территории современной Татарской АССР в средние века подтверждается также наличием соответствующих этно-антропотопонимов, топонимов и микропонимов в ТАССР.

На территории Татарии известен ряд этнопонимов, связанных с названиями башкирских племен: *байлар* и его роды *салагуш*, *калмаш* и *сураш* (например, татарские села и деревни: *Байлар* в Альметьевском и Бавлинском р-нах; *Иске Байлар* — Старый Байлар, *Яна Байлар* — Новый Байлар, *Югары Байлар* — Верхний Байлар, *Тау асты Байлар* — Подгорный Байлар в Мензелинском р-не; *Салагыш* в Агрызском р-не; *Калмаш* в Тукаевском и Актанышском р-нах; *Чураш* в Сармановском р-не); *буляр* и его роды *мышыга* (например, д. Татарское Булярово и с. Мари-Буляр в Муслюмовском р-не; татарская деревня *Мушук* в Агрызском р-не: с. Татарская *Мушуга* и Русская *Мушуга* в Мензелинском р-не); *тамьян* и его роды *куян* и *мясагут* (например, татарские села и деревни: *Тамьян* в Муслюмовском р-не; *Куян* и *Куяново* в Актанышском, Мензелинском и Елабужском р-нах ТАССР и в Параньгинском р-не Марийской АССР, *Масягутово* в Азнакаевском р-не); *табын* и его роды *кара-табын*, *юмран*, *дуван*, *таз*, *балыксы*, *суондук* (например, татарские деревни *Югары Табын* — Верхний Табын, *Түбән Табын* — Нижний Табын и речка *Табынка* в Муслюмовском р-не; татарское село *Карадуган* в Балтасинском р-не); в исторических документах *Карадуван*, *Карадован* [5. С. 286]; татарская деревня *Яна Дуван* — Новое Дуваново,

чувашское село Иске Дуван — Старое Дуваново и поселок Русское Дуваново в Дрожжановском р-не; татарское село Иске Юмралы — Старый Юмралы в Апастовском р-не. Нам представляется, что комоним Юмралы происходит от башкирского этнонима *юмран* + *лы* (аффикс наличия): *юмранлы* 'юмралинский'. Это подтверждает также название находящейся всего в километре от Старого Юмралы татарской деревни Карабай, которое связано с широко распространенным башкирским личным именем Карабай; татарские деревни Иске Тазлар — Старый Тазлар и Яңа Тазлар — Новый Тазлар в Арском р-не. Татарскую деревню Мөгезле-Блга Альметьевского р-на местные жители называют Тазлар, подчеркивая ее связь с башкирским этнонимом тазлар. В Казанском ханстве, на Нагойской дороге, была д. Балыкча [5. С. 284]. В Апастовском р-не есть татарские села Шәм [6] Балыкчы и Больн Балыкчы. Вполне возможно, что топокомпонент *балыкчы* в названиях этих деревень происходит от башкирского этнонима *балыкчы*. В Азнакаевском р-не находится татарская деревня Сөөндек — Суондук, в Тетюшском р-не — татарское село Сөөндек — Сюндюково.

К названиям племен и их родов восходит целый ряд топонимических наименований. К ним относятся: *еней* и его роды *бугазы*, *тугыз* и *комбар*: русско-татарская деревня Еней — Еновка в Бавлинском р-не; татарское село Митрияево Азнакаевского р-на жители соседних населенных пунктов называют Жүнэй (Еней); односельчане половину деревни Ахуново Актанышского р-на называют Енэй ягы (Енейская сторона), другую половину — Усаба ягы (Сторона Особа); татарские населенные пункты Яңа Богады — Новые Бугады, Иске Богады — Старые Бугады, Югары Богады — Верхние Бугады в Актанышском р-не, в которых топокомпонент *богады* происходит от башкирского этнонима *бугызы* (чередование звуков *з* ~ *д* свойственно мензелинскому говору татарского языка и диалектам башкирского языка), татарское село Тугыз в Мамадышском р-не, местность Тугыз буе в Агрызском р-не, город и железнодорожная станция Камбарка в Удмуртской АССР; роды *кадыкай* и *тенкэй* племени *киргиз* (речка Кады, татарское село Кадыбаш в Агрызском р-не, Иске Тенэкэй — Старое Тнякеево в Актанышском р-не); роды *карга* и *сатлыган* племени *кариши* (татарские села Каргалы в Апастовском, Мамадышском и Чистопольском р-нах. Комоним Каргалы, как нам кажется, происходит от башкирского или общекрыпчакского этнонима *карга* 'ворона' + *лы* — аффикс наличия: *каргалы* 'каргалинский', татарская деревня Сатлыган в Рыбно-Слободском р-не). В топонимах отражены названия родов *туркмен* и *карагай* племени *кыпчак* (татарские деревни Төркмән в Азнакаевском р-не, Карагай в Лениногорском р-не), племени *уней* (д. Татарский Убей, чувашские населенные пункты Старый Убей, Новый и Малый Убей в Дрожжановском р-не), родов *мин*, *уршак* и *кубоу* племени *мин* (татарская деревня Меннәр (вернее — Миннәр) — Миннярово в Актанышском р-не, центр удельного княжества волжских булгар в бассейне р. Свияги г. Атряч, или Мин иле Шунгат, — букв. 'Деревня или страна минцев Шунгат' (вторая половина XVIII в.), а не Меңәйле Шунгат 'тысяча домов Шунгат', как пишут татарские историки [4. С. 60], татарские села Олы Урсак — Большое Русаково и Кече Урсак — Малое Русаково в Апастовском р-не). В Уфимском р-не Башкирии есть татарская деревня Уршак, где топокомпонент *урсак*, по всей вероятности, происходит от названия рода *уршак* или *урсак* племени *мин*. Ср.: р. Уршак. В свою очередь, этноним и гидроним *урсак* или *уршак*, возможно, восходят к антропониму Уразак (*ураз* 'счастье' + *-ак* — уменьшительно-ласкательный аффикс). Отсюда Уразак > Урзак > Урсак > Уршак. К приведенному выше перечню следует

добавить еще татарскую деревню Кувады (*кува* + аффикс наличия *-ды ~ -лы* 'кубалинский') в Тукаевском р-не, роды *маскара* [8] (относится к катаяской группе башкир), *айыу* (относится к племени *усерган*) и *байсары* (татарские села Маскара в Кукморском р-не, Аю в Мензелинском р-не, Иске Байсар — Старое Байсарово, Яңа Байсар — Новое Байсарово в Актанышском р-не), а, возможно, также роды *казанчи* племени *танып* (татарское село Казанчи-Бигеней в Сабинском р-не), роды *байулы* (райцентр Баулы < Байулы) и т. д.

Примечательны также микротопонимы: Башкорт коесы — Башкирский колодец в д. Тюково Актанышского р-на; Башкорт урамы — Башкирская улица в с. Деуково Мензелинского р-на, в д. Буляк Муслимовского р-на; Башкорт зираты — Башкирское кладбище в с. Меллятамак Муслимовского р-на ТАССР и т. д.

Племена *буляр* (мышыга, кадыр), *байлар* (сураш, салагуш, кал-маш), *юрми* и *ирэктэ* входили в икскую группу башкир. В нижнебельскую группу входили племена: *еней* (бугазы, тугыз, комбар), *гэрэ* (урман-гэрэ, иль-гэрэ), *киргиз* (тенкэй, кадыкай), *елан* (эске-елан, идель-елан, кыр-елан), *ельдяк* (кыр-ельдяк, бүре-ельдяк, уфа-ельдяк), *канлы* (идель-канлы, юрактау, актау, сындаш), *дуваней* (йылкысы), *каршин* (кадрей, карга, сатлыган), *таз* и *уваныш*.

Икские и нижнебельские башкиры вместе составляют северо-западную этнографическую группу [9. С. 27]. Икские башкиры заселяли долину р. Ика от ее истоков до устья рек Степной Зай, Шешма и других, а нижнебельские — локализовались в долине р. Белой по обоим ее берегам. Как видно из приведенных примеров, на северо-восточной и юго-восточной территориях современной ТАССР наиболее распространены этнопонимы, связанные с икскими и нижнебельскими башкирскими родоплеменными названиями.

Племена *байлар*, *еней*, *буляр* и *юрми* считаются древнебашкирскими, их происхождение связано с волжско-булгарской и угорской (мადьярской) средой эпохи активных булгаро-тюркских этнических контактов (VIII—IX вв.). В северо-западной Башкирии наиболее четко прослеживается большая роль завершающих этапов башкирского этногенеза (XIII—XV в.), собственно кыпчакской миграции (*канлы*, *гэрэ*, *елан*, *киргиз*, *каршин*, *ельдяк*, возможно, *казанчи*), а также миграционных потоков кыпчакизированных племен тюрко-монгольского происхождения *катаяской* и *табынской* групп (балыксы, дуван, таз, уран, ирэктэ). Этническая история табынских родов *кесе* (ср.: название татарского села Каче—Качелино в Арском р-не), *кальсер*, *юрман* восходит к древнетюркскому миру Центральной Азии и Алтая. По своему происхождению племя *упей* является финно-угорским, а *тамыан* — центрально-азиатским или монгольским. Племена *кыпчак*, *катай*, *киргиз*, *табын* и *мин* появились в Башкирии в период кыпчакской миграции в XIII—XIV вв. «Эти племена, — пишет Р. Г. Кузеев, — являются участниками грандиозного по масштабам процесса этногенеза тюркских народов, который почти одно тысячелетие протекал на огромной территории от Алтая до Черного моря. Кыпчакский этап, по существу, был заключительным аккордом этого процесса, приведшим в конечном счете (с углублением социально-экономического развития и коренными изменениями в XV—XVI вв. политической ситуации в Дешт-и-Кыпчаке) к завершению формирования ряда народностей» [9. С. 41].

Проживание башкирских племен и родов на территории современной Татарской АССР в средние века и их частичное участие в этносе казанских татар, в особенности представителей мензелинского говора,

подтверждаются также наличием в данном регионе башкирских наименований татарских сел и деревень, восходящих по своей основе к башкирским лично-индивидуальным и семейно-родовым прозвищам, гидронимам, исходное апеллятивное значение которых можно объяснить на базе слов, сохранившихся до наших дней в различных говорах башкирского языка.

На территории Татарии нами выявлены, например, следующие антропо- и гидрокомонимы башкирского происхождения:

Атабай-Энкэбэ 'Атабай-Анкабе' — в Буинском р-не. Первая часть данного составного антропокомонима — общетюркское (широко распространенное у башкир) личное имя Атабай (в тюрк. языках *ата* 1) 'отец', 2) перен. 'матерый' + *бай* 'богатый', 'богач'), а вторая часть — индивидуальное прозвище Энкэбэ 'постоянный'. В демском говоре башкирского языка слово *энкэбэ* и в настоящее время употребляется в значении «постоянный» [10. С. 322].

Төке 'Тюки' — название татарских сел Дрожжановского и Актамышского р-нов, также восходит к башкирскому лично-индивидуальному или семейно-родовому прозвищу Төке 'пескарь'. В говоре демских башкир слово *төке* и сейчас бытует со значением «пескарь» [10. С. 256]. Село Татар Төкеси 'Татарские Тюки' является довольно древним. Исторические источники свидетельствуют о его существовании в Нагорной стороне в период Казанского ханства [5. С. 291].

Лақы~Ләке 'Лаки' — название татарского села Сармановского р-на; образовано от гидронима Ләке (Ләке йылгасы), восходящего, в свою очередь, к башкирскому диалектному названию рыбы. В сакмаровском говоре башкирского языка слово *лақы* употребляется в значении «вьюн» [10. С. 161].

В Заказанье в настоящее время имеется четыре татарских села, в состав наименований которых входит топокомпонент отпрозвищного происхождения *мәтәскә*: Югары Мәтәскә 'Верхние Метески', Түбән Мәтәскә 'Нижние Метески' (в Арском р-не), Олы Мәтәскә 'Большие Метески' и Югары Мәтәскә 'Верхние Метески' (в Сабинском р-не). Антропотопокомпонент *мәтәскә* состоит из слова *мәтәс*, употребляемого и ныне в юрматинском говоре башкирского языка в значении «карлик» [10. С. 160] + суффикс *-кә* <-кәй. В совокупности слово *мәтәскәй* > *мәтәскә* означает «карликовый» (т. е. «малый, низкорослый»). Следовательно, данное слово сначала превратилось в прозвище (антропоним) *Мәтәскәй* 'карликовый', а затем на территории Заказанья — в антропотопоним (или же в антропотопокомпонент) Мәтәскә. В списке населенных мест периода Казанского ханства значатся татарские деревни Метески, Метески Большие, Метески Малые, Метески Верхние, Метески Нижние и Тямти-Метески [5. С. 287] и др.

Кроме вышеприведенных антропотопонимов, о проживании отдельных башкирских родов или их осколков в средние века и несколько позднее в некоторых населенных пунктах Заказанья и об их участии в этносе местных татар свидетельствуют также и другие исторические факты и башкирские языковые реликты.

Татарская деревня Яна Арыш 'Новый Арыш' Рыбно-Слободского р-на ТАССР раньше называлась Башкортлар (Башкиры); данное название установилось за этой деревней в связи с поселением в ней башкир [11. С. 96]. В 1780-х годах в Казанском наместничестве в татарской деревне Шеки зафиксированы две ревизские души башкир [12. С. 253]. На одном из надгробных памятников д. Малая Атия Арского р-на написано название родоплеменной организации башкир — تابين *табын* (*йабанчы табын Ак Булад*) [13. С. 156].

В соседнем с Арским Балтасинском р-не имеются татарские деревни Тау Зары (в старых списках населенных мест зафиксирована как Таузарово) при речке Кине, где жили ясачные татары [12. С. 255], и Карадуван.

По нашему мнению, название д. Карадуван происходит от этнонима башкирского племени *дуван* или рода *каратабын*. Дж. Г. Киекбаев пишет, что слово *дуван* (дуваней) > *табын*, вероятно, заимствовано у ираноязычных аланских племен, обитавших во II—IV вв. н. э. на Южном Урале. Сначала оно означало союз племени или совет племени: *юмран табын*, *барын табын*, *колчар табын*, *кабарын табын*, *дуван табын* — союз племенных союзов [14. С. 233]. В книге П. И. Рычкова [15. С. 65—73] дается перечень волостей и родов башкирского народа, где встречаются интересующие нас названия родов: *табын* (*кара табын* — на Ногайской дороге и *барын-табын* — на Сибирской дороге), *дуван* — на Казанской дороге, *тазлар* — на Осинской дороге, а также названия тюбяк и аймаков, происходящие от этих и других родов: *дуван-табын*, *мелля-табын*, *дуван-кудей*, *дуван*, *таз-дуван*, *дуваней*, *аджи-дуваней*, *амла-табын*, *кукзуряк-табын*, *кыпчак-табын*, *кеси-табын*, *юмран-табын* и т. д. Многие из них образовали этнонимические географические названия Башкирии. Например, Дуван — название района и райцентра, Дуванейка — деревни в Иглинском, Нуримановском и Аскинском р-нах, Дуван-Мечетлино — с. в Мечетлинском р-не; Табынки — с. в Альшеевском р-не, Табынское — с. в Гафурийском р-не, Табынский Ключ — родник и деревня в Караидельском р-не Башкирии [16], ср.: названия татарских деревень Верхний Табын и Нижний Табын при речке Табынке левого притока Ика — в Муслюмовском р-не Татарской АССР и т. д.

В «Шежере башкир рода кара-табын племени табын» говорится о переселении части табынцев и башкир из других восточных племен в Западную Башкирию и о вхождении их в сферу влияния Казанского ханства [18. С. 165]. В юго-западных районах Башкирии и в наши дни известны легенды о борьбе родоначальника табынцев Исен-хана со ставленником Казанского хана Чуртман-ханом. «Одна из них повествует, — пишет в комментарии доктор исторических наук Р. Г. Кузеев, — что башкиры в первой половине XVI в. были вынуждены по призыву казанского хана идти на защиту Казани от русских. Башкиры, согласно преданию, были весьма воинственными и поэтому являлись главной опорой Казани. Но так как в течение десятилетий они угнетались казанскими ханами, то решили покинуть город и уйти на родину» [18. С. 217]. Летописи 1469 г. сообщают, что казанский хан Ибрагим собирал войско «с всею землею своею с Камского и Свяжского и с Костяцкого и с Беловолжского и с Вотяцкого и с Башкирского» [19. С. 69].

Быть может, тогда часть воинов-башкир из рода кара-табын и тазлар не ушла в Башкирию, а осталась жить в Заказанье. Они основали там деревни Карадуван, Тазлар и др. Данное предположение подтверждается следующим:

1. Две расположенные недалеко друг от друга деревни носят названия Карадуван и Тазлар, соответствующие названиям башкирских родов *кара табын* (*дуван* > *дуван*) и *тазлар*.

2. В бывшей Казанской губернии имелись только лишь эти деревни с подобными наименованиями [20].

Правда, около 1780 г. жители д. Тазлар (Старый Тазлар) основали д. Новый Тазлар [21. С. 5]. Однако это не противоречит нашему утверждению о том, что в других местах Казанской губернии, а позже в Татарской АССР не встречаются населенные пункты под названиями

Карадуван и Тазлар. В Башкирии же от этнонимов *дуван*, *табын* и *тазлар* образовались названия нескольких деревень. Названия населенных пунктов, образованные от этнонимов *дуван* и *табын*, приводились выше. От этнонима *тазлар* [22] это, например, Тазларово—Зианчуринский р-н, Старотазларово и Новотазларово — Бураевский р-н БАССР и т. д.

3. Интересно отметить, что в 80-х годах XVIII в. в Казанском наместничестве в д. Шеки, которая расположена на 10 километров выше (по речке Шошме) д. Карадуван, были зафиксированы две ревизские души башкир [23. С. 25]. Вероятно, они были из башкир-переселенцев, еще не успевших к этому времени полностью ассимилироваться.

4. В трех километрах от Карадувана расположена д. Тау Зары, которая в старых списках населенных мест зафиксирована как Таузарово [он же Тохтарово] при речке Кине, где живут ясашные татары 73 души [23. С. 255]. В [21. С. 11] читаем: «Тавзарово (по-тат. Тавзариле), Тохтарово. Деревня при речке Книнке, по левой стороне Сибирского почтового тракта. Название Тавзариле тат. = гористая местность. Жителей 208 муж. и 204 жен. татары-магометане». Как видно из толкований И. А. Износкова, название данной деревни означало «гористая местность», а современное название Тау Зары означает «жалоба, ропот горы». Это — результат переосмысления первоначального названия Таузар (по-башкирски — «горы»), которое весьма близко по своей структуре к Тау Зар (Зары), буквально: «гора, жалоба, ропот», т. е. «жалоба, ропот горы». Здесь внимание привлекает башкирская форма названия д. Таузар 'горы', где, в противоположность татарскому Таулар 'горы', употребляется аффикс множественного числа *зар*, что свойственно башкирскому языку, а не *лар*, характерный для татарского языка. Форма Таузар (Тавзарово) в названиях деревень Татарии является единственной, в отличие от Таулар (по-русски Тавларово) — названия татарских деревень в Мензелинском и Рыбно-Слободском р-нах Татарской АССР.

5. Имеются и другие факты участия отдельных башкирских родов в этногенезе соседних с ними народов. Чувашский топонимист Г. Е. Корнилов, исходя из анализа фонетических, лексических, морфологических и топонимических «башкиризмов» говора жителей с. Пошкарт Ядринского р-на Чувашской АССР, приходит к выводу, что, «будучи кочевыми и полукочевыми, отдельные башкирские роды со временем локализовались в районах, весьма отдаленных от мест основного оседания близкородственных племен. Одним из подобных случаев является оседание татаро-башкирских родов в северной части Чувашской АССР на территории Сундырского, Ядринского, Моргаушского районов» [24. С. 171]. Достоин внимания и тот факт, что в Дрожжановском р-не ТАССР, граничащем с юго-западной частью Чувашской АССР, есть чувашское село Старое Дуваново (Иске Дуван) и татарская деревня Новое Дуваново (Яңа Дуван). До Октябрьской революции они относились к Симбирской губернии. Безусловно, из них первичным является название чувашского села Иске Дуван (Старое Дуваново), которое, по всей вероятности, восходит к одному из башкирских родовых наименований *душан* (дуван).

На основе этих данных можно полагать, что в Заказанье в деревнях Карадуван, Тазлар, Тавзарово и т. д. в пору подчинения их Казанскому ханству осело либо военное сословие башкир, либо небольшая часть кочевых башкир из родов *кара душан* (дуван) и *тазлар* (известно, что в средневековье в нижнем течении р. Вятки кочевали башкирские роды). Их родовые наименования перешли в названия указанных деревень и,

таким образом, сохранились до наших дней в виде топонимических башкиризмов.

Количество этно-, антропо- и микротопонимов, восходящих к башкирскому языку, значительно больше на территории республики, граничащей с Башкирией, нежели в Нагорной стороне и Заказанье ТАССР. Это объясняется прежде всего длительным проживанием и постепенным смешением с казанскими татарами икских, нижебельских и других башкирских племен и родов со времени Казанского ханства, а также в XVII—XIX вв. [25] в юго-восточном Закамье, в бассейнах рек Зай, Ик и Белая.

Таким образом, исторически сложившиеся внутрорегиональные и межрегиональные этнолингвистические и этнические связи и этнокультурные контакты казанских татар (и их предков—волжско-камских булгар) с соседними кровнородственными башкирскими племенами нашли непосредственное отражение в топонимии Татарии.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Научная сессия по этногенезу башкир. Уфа, 1969.
- 2 Археология и этнография Башкирии: Материалы научной сессии по этногенезу башкир, май 1969. Уфа, 1971. Т. 4.
- 3 Халиков А. Х. Общие процессы в этногенезе башкир и татар Поволжья и Приуралья//Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1971. Т. 4.
- 4 История Татарской АССР: (с древнейших времен до наших дней). Казань, 1968.
- 5 Чернышев Е. И. Селения Казанского ханства//Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань, 1971.
- 6 Слово *шам* (шәм) в азербайджанском языке означает «сосна» (см.: [7. С. 237]). Название деревни Карашам Зеленодольского р-на ТАССР, по всей вероятности, является топонимическим огунизмом: *кара* 'черная'+*шам* (шам) 'сосна'.
- 7 Азербайджанско-русский словарь. Баку, 1962.
- 8 Этноним *маскар* есть и у казахов.
- 9 Кузеев Р. Г. Этнический состав, история расселения и происхождения башкирского народа: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1971.
- 10 Башкорт һөйлаштәренен һүзлеген. Өфө, 1970. 2 том.
- 11 Износков И. А. Список населенных мест Казанской губернии с кратким описанием их: Лаишевский уезд. Казань, 1893. Вып. 1.
- 12 Корсаков Д. А. Сборник материалов по истории Казанского края в XVIII в. Казань, 1908.
- 13 Юсупов Г. В. Введение в болгаро-татарскую эпиграфику. М.; Л., 1960.
- 14 Киекбаев Дж. Г. Вопросы башкирской топонимии//Учен. зап. Башк. гос. пед. ин-та им. К. А. Тимирязева. Сер. филол. Уфа, 1956. Вып. 8, № 2.
- 15 Рычков П. И. Топография Оренбургской губернии. Оренбург, 1887.
- 16 Подробнее см.: [17].
- 17 Словарь топонимов Башкирской АССР. Уфа, 1980.
- 18 Башкирские шежере. Уфа, 1960.
- 19 История Татарской АССР. Казань, 1968.
- 20 Ведомость о наместничестве Казанском//Сборник материалов по истории Казанского края в XVIII в. Казань, 1908.
- 21 Износков И. А. Список населенных мест Казанского уезда с кратким их описанием: Балтасинская волость. Казань, 1885.
- 22 Деревню Мугезле-Елга Альметьевского р-на местные жители неофициально называют Тазлар, чем, безусловно, подчеркивается ее связь с башкирским этнонимом *тазлар*.
- 23 Сборник материалов по истории Казанского края в XVIII в. Казань, 1908.
- 24 Корнилов Г. Е. К вопросу об участии отдельных башкирских родов в этногенезе смежных с ними народов//Научная сессия по этногенезу башкир. Уфа, 1969.
- 25 По данным переписи 1897 г., в Мензелинском уезде, относившемся тогда к Уфимской губернии, проживало: тептярей — 36 783, башкир — 122 678, татар — 106 537, русских — 117 221, украинцев — 9, поляков — 18, латышей — 3, немцев — 7, чувашей — 3 142, туркмен — 568, мордвы — 4 608, черемисов — 2 736, удмуртов — 22 (см.: [26. С. 9]).
- 26 Фильструп Ф. А. Этнический состав населения Приуралья//Тр./Комиссия по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. Л., 1926. Вып. 2.

Ф. ГАРИПОВА

**ТОПОНИМИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ,  
ВОСХОДЯЩИЕ К БУЛГАРСКОМУ ПЕРИОДУ (I)**

В конце IX—начале X в. на Средней Волге и Нижней Каме (территория основных районов современной Татарской АССР) сложилось одно из наиболее ранних в Восточной Европе государственных образований, известное в X—XIV вв. как Волжская Булгария [1. С. 35]. В ее составе сформировалась и татарская этническая общность [1. С. 38].

К болгарскому периоду восходит ряд топонимов Среднего Поволжья.

**АГА-БАЗАР** — селище ранне- и позднебулгарского периодов «в 7 км к северу-западу от с. Болгары Куйбышевского района ТАССР на левом берегу Волги. Остатки пристани-торжища города Булгара» [2. № 737; 3. № 156]. К северо-востоку от селища Ага-Базар, на левом берегу Волги, найден могильник общеповолжского и клад монет позднебулгарского периодов [2. № 738, 739; 3. № 157, 164].

После утраты Булгарским государством политического и экономического могущества Булгарская ярмарка (Ага-Базар. — Ф. Г.) [4] была переведена в Казань. «Это — торговый город, — писал о Казани Иосифат Барбаро, — оттуда вывозят громадное количество мехов, которые идут в Москву, Польшу, в Пруссию и во Фландрию. Меха получают с севера и северо-востока, из области Дзагатаев и из Мордовии» [5. С. 159]. По сообщению С. Герберштейна, в Казань для продажи привозилось много товара «... с Каспийского моря, из торжища Астраханского, а также из Персии и Армении» [6. С. 157]. Здесь получили дальнейшее развитие болгарские торговые контакты [7. С. 180].

Казанская ярмарка [8], упомянутая С. Герберштейном и известная также по русским летописям как место встречи купцов из Руси, Бухары, Шемахи, Турции, Армении и других стран, проходила в 5—6 км от города по берегу Волги (ср. с Ага-Базаром возле Булгара). В 1523 г. Василий III, желая принудить казанцев к сдаче и отняв у них возможность покупать у русских соль, запретил русским купцам ездить в Казань и велел открыть новую ярмарку в Нижнем Новгороде. Однако такая мера нанесла большой ущерб и самой Руси [6. С. 157; 7. С. 180]. Эта ярмарка называлась Макарьевской (Мәкәржә ярминкәсе).

В XVIII в. в Казани был целый комплекс базаров. Так, например, был известен Печән Базары (Сенной базар). На перекрестке современных улиц Парижской коммуны и Кирова находилась соборная мечеть, а от нее тянулись ряды Агач-базары, где продавались лес, строительный материал и изделия из дерева. В Обжорном ряду торговали продуктами, там же были дешевые трактиры.

Слово «базар» зафиксировано как гидроним и топоним на территории ТАССР и за ее пределами: с. Базарлы Матак (Базарные Матаки), где раньше был большой базар, центр Алькеевского р-на, и пос. Базаровка в Коногорском с/с Бугульминского р-на. Близ с. Базарные Матаки выявлены названия двух селищ именьковского и древнебулгарского пе-

риодов [3. № 478—479]. Базар йылгасы — пр. р. М. Меши, около с. Малый Шинар (Сабы). В самом селе найден надмогильный памятник, датированный первой половиной XVI в. В соседнем с. Большой Шинар зафиксировано селище общебулгарского периода [10. № 484—485], Базар уйазы йылгасы — около д. Верхний Сунь (Мамад.), Базар күле — пр. р. Тиганки (Алекс.), у оз. Базарного и р. Раткуль в Спасском уезде — д. Юрткули Мордовские (Базарные Юрткули [11. С. 87]). В этой деревне выявлены два селища и три местонахождения ранне- и позднебулгарской эпохи [2. № 783, 791—793, 800]. Кроме того, около соседних деревень найден целый комплекс селищ — местонахождений того же периода [2. № 783—801]. Ареал топонимов и гидронимов со словом «базар» весьма широк [12. С. 68; 13. С. 63—64].

*АРЧА (АРСК)* упоминается в 1278 г. в «Степенной книге», где говорится о том, что хан Менгу Тимур выдал замуж свою дочь за князя Федора Ростиславича и подарил зятю 36 городов, в том числе Чернигов, Булгар, Куман, Корсун, Арча (Арск), Балымат и др. [14. С. 216]. «В 1379 году летописи упоминают о походе вятчан-ушкуйников в Арскую землю» [9. С. 354]. Сведения об области Ару оставил и путешественник XII в. Абу Хамид ал-Гарнати [15. С. 31, 101—104].

Об Арском городе сообщает источник конца XV в. Позже о нем говорилось в летописях, в записках И. Курбского, описавшего последнюю осаду Казани в 1552 г., причем упоминался и Арский князь [16. С. 478]. В современном рабочем поселке Арск—одном из райцентров ТАССР, расположенном на правом берегу р. Казанки, зафиксировано Арское городище булгарско-позднетатарского периода [2. № 1434; 10. № 207]. Арск на р. Казанке упоминается в памятниках времен Казанского ханства [17. С. 294]. «С востока город (Казань. — Ф. Г.) окружало Арское поле, начинавшееся тогда от нынешних Николаевской и Театральной площадей. От Арского поля шла через густые леса Арская дорога — нынешний Сибирский тракт» [9. С. 317, 354]. Упоминаются Арская ярмарка в Казани [9. С. 122], с. Арская Слобода в бывшем Симбирском уезде [9. С. 398]. Название Арча зафиксировано в словаре В. Радлова [18. С. 323]. Относительно этимологии названия города Арск (по-татарски — Арча) имеются различные мнения. На наш взгляд, правы М. Фасмер и Р. Фахрутдинов, которые связывают топоним Арск (Арча) с апеллятивом *арча* 'можжезельник' [19. С. 92; 20. С. 193—195]. В булгарскую эпоху были распространены топонимы, основанные на названиях реальных растительного и животного мира. Таковы наименования городов Жүкәтау (рус. *Жукотин* — от тат. *юкә* 'липа'+*тау* 'гора') и Тубылгытау (от тат. *тубылгы* 'таволга'+*тау* 'гора'). И в современной топонимии ТАССР немало таких названий, например: населен. пл. Каенлык, Имәнлебаш, Каенсар, Каенсаз и др.

*БҮРСЕТ ~ БӨРСЕТ (р. Берсут)* — прав. пр. р. Камы. Данные топонимии правобережья Камы позволяют указать местопребывание булгарского племени берсула в бассейне р. Берсут. Булгарские племена берсулы освоили бассейн р. Берсут и дали название реке. «Имя берсула, — пишет Н. И. Ашмарин, — я отождествляю с названием реки Берсулы, правого притока р. Камы, впадающего в последнюю несколько выше г. Чистополя» [21. С. 106]. Кроме того, в Мамадышском р-не на берегу упомянутой реки расположены сс. Верхний Берсут, Берсут и пос. Сухой Берсут. В д. Берсет-Сукаче найден Берсут-Сукачинский надгробный камень, датированный первой половиной XVI в. [10. № 698]. Деревня Берсут упоминается во времена Казанского ханства [17. С. 278]. Очевидно, топоним Берсут образован от этнонима берсула + аф. множественности -т [21. С. 120].

Берсула (бәрсул) — этноним. Упомянуется в арабоязычных источниках. Так, Ибн Руста сообщает: «Болгаре делятся на три отдела: один отдел зовется берсула, другой эсегель, а третий — болгар» [22. С. 22]. Г. В. Юсупов не без основания замечает, что эсегель (Аск иле), возможно, означает Аз иле [23. С. 222].

Правобережье Камы вплоть до современной Елабуги было заселено булгарами в домонгольский период [2. С. 46—47]. Однако этноним берсула мог превратиться в гидроним в результате миграции населения из Закамья. До образования же Волжской Булгарии в Среднем Поволжье берсула известна под названием барсилов — северокавказских и прикаспийских тюркских (болгарских) племен, оставивших яркий след в истории хазар [24. С. 131—132, 184, 229, 235; 7. С. 16]. Восхождение *барсил* ~ *барсул* и *бәрсула* (*берсула*) к одной основе не вызывает сомнения. Чередование звуков *а—э* в татарском и в ряде других тюркских языков (уйгурском, туркменском) закономерно. Чередование во втором слоге звуков *и—у* наблюдается в древнетюркском и в уйгурском языках. Берсут, Берсаут — это монгольская (возможно, и древнетюркская) форма мн. ч. от *берсул*—*барсул* и *барсил*. Дальнейшее изменение шло в таком плане: *Бәрсут* > *Бүрсәт* > *Бөрсет* по аналогии «*тәтүл* > *түтәл*, *тәгул* > *түгел* и др.» [25. С. 24—27]. На наш взгляд, массовое изготовление фигуры барса в Биляре не случайно. Барс — хищник, животное семейства кошачьих, обитающий в горах восточной части Средней Азии, Южной Сибири, Алтая [26. С. 183; 27. С. 10], был, очевидно, тотемным животным одного из крупных болгарских племен Поволжья и Северного Кавказа — барсил. Этот этноним состоит из двух древнетюркских слов: барс — хищный зверь, тигр, один из символов двенадцатилетнего животного календаря — и ель, иль (*el*) — племенной союз, племя, народ, государство, страна. Таким образом, барсил—племя, племенной союз, или народ барсов. Как известно, барсилы, или серебряные булгары, составляли основную группу населения Волжской Булгарии, из их среды избирались и болгарские цари, иногда именовавшие себя царями болгар и барсил [28. С. 193—194; 27. С. 10]. По мнению татарского историка Ш. Марджани, барс был знаком (ураном) болгарских царей [27. С. 10]. Культ барса уходит в глубокую древность и отчетливо проявляется в скифо-сакскую эпоху. Изображение барса часто встречается в произведениях скифо-сакского искусства [29; 30. С. 186—188; 27. С. 11]. К концу I тыс. н. э. барс, нередко рогатый барс, выступает как символ некоторых исторических личностей, тесно связанных с тюркским (болгаро-печенежским) миром. Так, предполагают, что имя одного из властителей Булгарского царства — хана Бориса, правившего в 852—898 гг., происходит от слова «барс». У поволжских татар, потомков булгар, барс считался символом богатства, знатности, плодородия. Примечательны в этой связи такие татарские пословицы: «В год барса все сеи́ (все уродится)», «В год барса все растет», «Год барса — год богатства» и т. п. В целом можно полагать, что изображение барса у волжских булгар символизировало знатность, привилегированное положение, принадлежность к княжескому, царскому роду [27. С. 11].

*КЕНӘ йылгасы* (р. Книнка) — прав. пр. р. Бурец (Кукморский р-н ТАССР), прав. пр. р. Уштармы (Кукморский р-н), прав. пр. р. Шошмы (Балтасинский р-н). В форме Кня, Книнка гидроним упоминается у Износкова [31. С. 126; 32. С. 4] и А. Артемьева [11. С. 63]. Кроме того, имеются населенные пункты: Түбән Кенә (Нижняя Кня), Югары Кенә (Верхняя Кня), Кенәбаш (Княбаш) в Балтасинском р-не. В Кукморском: с. Кенәбаш (Княбаш), д. Иске Кенә (Старая Кня), пос. Кече Кенә (Малая Кня).

На территории бывшего Булгарского государства зафиксированы: р. Б. Кинель (<кенэ+иле) — пр. р. Самары (Оренбургская и Куйбышевская обл.), р. М. Кинель — лев. пр. р. Б. Кинель. Река Кинель упоминается у Ибн Фадлана [33. С. 130, 192]. Хронологически данный гидроним восходит к булгарскому периоду. Изменение названия шло, видимо, в таком направлении: Кинель⇒Кенэ иле⇒ (Кинэ иле)→Кенэле (Кинэле)→Кенэ. От этнонима кенэ иле (кинэ иле) возникло наименование Кинель. От гидронима Кинель получили названия город и села: Кинель — центр Кинельского р-на, Кинельский, Кинель-Черкасский, р-ны Куйбышевской обл., Кинель-Черкасы, село и центр Кинель-Черкасского района Куйбышевской обл. На правом берегу р. Б. Кинель обнаружено Кинельское селище позднебулгарского периода, а близ с. Кинель-Черкасы на левом берегу р. Б. Кинель—Кинель-Черкасское селище общеповолжского типа [2. № 4, 8]. Ср.: пос. Кинельский в Матвеевском р-не Оренбургской обл. К этому же ряду можно отнести гидронимы бассейнов рек Клязьмы и Оки—Кинель, Кинелька, Кинелка [34. С. 114, 200].

**ОРЫМ.** Название р. Орым (Урюм) Тетюшского р-на (на ее берегу расположена д. Урюм), гидроним Орым (Урюм) — лев. пр. р. Кубни в Апастовском р-не, Орым чокры — лев. пр. р. Мурасы в д. Старорусское Альметьево Октябрьского р-на восходят, видимо, к этнониму орым (урюм), зафиксированному в булгарском эпиграфическом памятнике [23. С. 222; 35. С. 89]. У с. Урюм (Тетюши) найдено Урюмское кладбище с надгробиями позднебулгарского периода, а также клад монет того же времени [2. № 1660—1661]. Об этом кладбище упоминает В. П. Семенов: «... около с. Урюм находится древнее кладбище; ... сохранившаяся татарская надпись свидетельствует, что могила относится к 1325 году. По Р. Х., ... против Урюма, в нагорном берегу Волги находится Урюмский затон шириной до 60 саж. и глубиной до 8 фут» [9. С. 384]. Ырым — этническое название у казахов [23. С. 224]. К этому же ряду относится название Апастовского р-на Орым Тәртибе (Ст. Тябердино) и Орымширма (Урумширма) Сабинского р-на. В бывшем Цивильском уезде зафиксированы д. Старый Урюм и Новый Урюм [36. С. 322].

**УРЭН (р. УРЕНЬ)** — лев. пр. Куйбышевского водохранилища в Ульяновской обл. Гидроним Урень приведен у Ибн Фадлана [33. С. 131—194]. Название Урень встречается в писцовой книге: «... по реке по Уреню по вершине да к Малому бору, а от малого бору по верхней бор и по дубровник и по Волгу реку, а по Волге по реке на низ» [37. С. 67]. Кроме того, город Урень — центр Уренского р-на Горьковской обл.

**САБАКУЛЯНЕ, ТЕМТЮЗИ, ЧЕЛМАТА.** Опираясь на топонимические данные, С. М. Шпилевский нашел местоположение домонгольских болгар — сабакулян, темтюзи, челмата в современном западном Предкамье (ТАССР), в бассейне р. М. Меши и Чулман (совр. Кама), которые в русской летописи ошибочно считались городами. Они должны восприниматься, писал С. М. Шпилевский, как этнонимы болгар [16. С. 140]. «Князь Суздальский Всеволод Георгиевич просил помощь у Святослава, он послал сына Владимира, и они... поидоша в землю Болгарскую, к Великому городу Серебряных Болгар. Болгаре же, видевшие множество полков, не могоша стати, затворившася в город... Окольные же города Болгарские, Сабакуляне и Челмата, совокупишася со иными Болгары, зовемыи Темтюзи, и совокупившееся их, идоша на засады, а из Торьцкого на коних приехавши на лодье Русское и вышедшие на остров тот и поидоша на Русь» [38. С. 108]. Д. Б. Греков и Н. Ф. Калинин, основываясь на том, что в древности города часто назывались

этнонимами, считали названия сабакуляне, челмата и темтюзи этнонимами болгарских племен [38. С. 108]. Это мнение поддерживает и Г. В. Юсупов [23. С. 222].

По мнению Р. Г. Фахрутдинова, основная часть домонгольских памятников размещена в прибрежной зоне Камы, включая ее небольшие притоки и низовье Меши. Кроме того, болгары еще в домонгольский период вполне могли заселять весь район Бетьки и других соседних рек, ибо нижние течения этих рек стали болгарскими еще в IX—X вв. [2. С. 46—47].

В Сабинском р-не (правобережье Камы) в р. М. Мешу впадает р. Саба (на карте Казнац, в языке местного населения Саба суы или Казкаш). В источниках зафиксированы варианты: Саба-Сабинка, Старая Саба, Средняя Саба [16. С. 142; 11. С. 63; 31. С. 120; 36. С. 190, 235]. На ее берегу расположены населен. пп. Сабабаш, Чэпке Саба, Иске Саба (Туктар). У д. Чабки Саба установлено селище общеполгарского периода [10. № 499]. Вторая река под названием Саба впадает в основную р. Сабу с правой стороны (об этом пишет С. М. Шпилевский [16. С. 142]), в языке местных жителей известна как Саба суы. На берегу этой реки расположены д. Байлар Сабасы и Урта Саба (Саба Шайтан). Деревня Сабабаш-Сабы существовала в период Казанского ханства [17. С. 287].

Часть летописного этнонима «саба» нашла отражение в перечисленных названиях сел и водного объекта.

Интересно, на наш взгляд, отметить, что в районах Предкамья развиты различные народные промыслы, а также ювелирный, валяльный, кожевенный, плотницкий, ткацкий.

По мнению Г. Ф. Саттарова, название Саба употреблялось как антропоним Саба, Сабакай, Сабакол, впоследствии оно превратилось в гидроним Сабакол, а затем в топоним [39. С. 109].

По данным многих ученых, названия рек древнее наименований населенных пунктов. Крупные города древних болгар также были расположены по берегам рек: Булгар на Волге, Сувар на Утке, Биляр на Билярке и т. д. В то же время упоминаемые в русских летописях XI—XIII вв. темтюзи, челмата и сабакуляне обосновались по берегам рек Тямти, Атынки, Сабинки и получили свои названия от гидронимов. Аналогичные же топонимы вторичны.

В Лаишевском р-не около оз. Сабуголи расположена д. Сабуголи. Вполне возможно, что ее название восходит к летописному этнониму сабакуляне. Деревня Сабуголь (ныне Сапуголи) упоминается в источниках времен Казанского ханства [17. С. 287]. В Курганской области сохранился населенный пункт Сафакуль. По мнению Р. Г. Ахметьянова [40. С. 133], это название также восходит к указанному этнониму. Определенный интерес представляет название р. Суба-Саба (прав. пр. р. Тясмины и Днепра) на юге Украины [41. С. 538], которое, по нашему мнению, может восходить к компоненту саба вышеназванного этнонима.

С. М. Шпилевский обнаружил место обитания носителей второго компонента этнонима сабакуляне — кулян (куль). Опираясь на данные летописи и на сведения Татищева, он делит этноним сабакуляне, или сабакуль, на два — саба и куль. В бывшем Лаишевском уезде зафиксирована д. Кульбаши (совр. д. Иске Карабаян) — Верхний Куль, верховье, вершина, голова (баш) Куля, следовательно, должны были существовать поселения с такими названиями ниже этой местности, т. е. ближе к Каме; таковыми представляются с. Кульга и д. Кульга (совр. д. Большая Кульга и с. Малая Кульга в Рыбно-Слободском р-не). «Название Кульга вместо Куль, — писал Шпилевский, — я принимаю за рус-

скую переделку инородческого названия» [16. С. 142]. Деревни Кульга Большая и Кульга Малая существовали еще во времена Казанского ханства [17. С. 286]. У д. Ст. Карабаян (Кульбаши, Кылбагыш) зафиксировано Бигерское местонахождение позднебулгарского периода [2. № 137]. Деревня Коробон (Коробаян) упоминается в памятниках Казанского ханства [17. С. 286].

Река Тэмте (Тямти) — на карте Тямти-Баш — в Сабинском р-не с правой стороны впадает в р. Б. Мешу. Гидроним в вариантах Темьтя, Тэмте, Тямти зафиксирован в источниках [37. С. 96; 42. С. 142; 31. С. 4; 11. С. 52; 43. С. 216; 16. С. 142]. Река Тямте упоминается во времена Казанского ханства [17. С. 289]. Среди имен булгаро-татар, известных по эпиграфическим памятникам XVI—XVII вв., встречается имя Тамты [35. С. 80].

Река Терек-Тямте (Трюк-Тямти) впадает в р. Тямти. На их берегах имеются с. Трюк-Тямти (Терек и Трюк — название реки. Чтобы отличить с. Тэмте, расположенное на берегу этой реки, от других Тямти, его называли Трюк-Тямти), д. Тямти-Метески и Тямти-Тулумбаево. Село Трюк-Тямти, Тямти-Тулумбаево и д. Тямти-Метески существовали еще во времена Казанского ханства [17. С. 278, 288]. На южной окраине с. Тямти-Метески зафиксировано кладбище, где обнаружены надгробия, относящиеся к I половине XVI в. [10. № 105].

В р. Б. Мешу с левой стороны впадает р. Нырса. Верховье этой реки, где расположена д. Тямти, называют р. Тямти. «Список населенных мест Казанской губернии» указывает на другую реку Тямти в Мамадышском уезде, где имеется и д. Тямти (Багты — враг Тямти [44. С. 142]). У Артемьева Багты — враг Тямти указывается у речки Тямти [11. С. 66]. К юго-востоку от д. Тямти Сабинского р-на зафиксировано Тямтинское селище позднебулгарского периода [2. С. 1374], обнаружен Тямтинский надгробный камень, относящийся к I половине XVI в. [10. № 479]. В писцовой книге Казанского уезда 1602—1603 гг. упоминаются Тямтиковская пустошь, д. Тямте на Зюрийской дороге и р. Тямтя [37. С. 81, 81 об., 93 об., 94, 95, 95 об., 96, 98 об., 99]. Кроме того, в Камско-Устьинском р-не имеется русско-татарское с. Тэмте (рус. Теньки), рядом — Тэмте күле (оз. Теньковское). «Теньки, деревня на р. Сарбыш, и рядом с ним четыре озера: Теньковское, Хозящево, Круглое и Узкое упоминаются во времена Казанского ханства» [17. С. 291]. Эти названия, а также Тэмте кыры (Теньковское поле), Тэмте печәнлеге (Теньковские покосы) зафиксированы в писцовой книге Свияжского уезда и в исторических актах С. Мельникова: «...в Свияжском уезде, к селу Тенком, в Тенковских покосах ближние четыре озера, озеро Тенковское, озеро Хозящево, Круглое, озеро под Тенковским полем» [45. С. 130].

У с. Теньки обнаружены городище и селище именьковского периода, две находки балановского, а также периода бронзы [46. № 662—665]. В д. Болын-Балыкчы Апастовского р-на зафиксировано название оз. Тэмте күле, у д. Болын-Балыкчы — два селища: одно из них древнебулгарского, другое — именьковского периода [46. № 164—165]. В д. Атабаево Камско-Устьинского р-на имеется гора под названием Тэмте тавы, в д. Б. Буртасы того же района — улица Тэмте урамы.

Булгарский этноним «темтюз» находит отражение в названиях вышеупомянутых населенных пунктов и гидронимов. «З» — усеченный вариант аффиксов *-лы*, *-ды*, *-зы*, основа сохранена в топониме Тэмте. «Название Темтюзи в булгарский период, возможно, употреблялось в форме тэмтезе-тэмтеде» [47. С. 88—89]. Интересно, что упомянутая

деревня Кульбаши (Ст. Карабаян, Кылбагыш) находится рядом с д. Тямти (Багты—враг или же Тямти) [36. С. 242].

С другой стороны, этноним «темтюз» можно разделить на две части: темт или темти+юз→йюз→йүз→йөз. У татарского народа, таким образом, имеются все три родоплеменные формы: мең, кырык, йөз, зафиксированные в наименованиях деревень и топонимов, например, д. Кырык-Садак (Буин.), Мәннәр (Актаныш.) и в Мең иле Шонгаты (булгарских времен) и в булгарском этнониме темтюз (темт+юз→йюз→йүз→йөз), которые выявлены также у казахов, каракалпаков, киргизов, ногайцев, туркмен, башкир и др.

Таким образом, «булгары, обитавшие в местностях Тямти, Саба и Куль, называли себя этими топонимами. Куль находилась к северу от р. Камы, Саба — к северо-востоку от Куля, а Тямти — северо-западнее Куля. Нами названия, упоминаемые в летописях при описании похода 1184 г., впервые приурочиваются к определенным местностям. Считаем, что наши выводы довольно основательны» [16. С. 143].

Относительно этимологии компонента аты летописного этнонима «челматы» точки зрения самые различные. Так, например, В. Н. Татищев связывает этноним «челматы» с названием р. Чулман. Это мнение, на наш взгляд, не лишено оснований,—в древности топонимы и гидронимы были очень тесно связаны с этнонимами. Г. Ф. Саттаров объясняет происхождение названия аты от марийского слова *ото* 'возвышенность' [48. С. 58—59]. У с. Большие Аты зафиксировано местонахождение общепулгарского периода [2. № 1245]. В Лрском р-не на правобережье Камы в названиях значительного количества деревень имеется компонент аты, например, на берегу р. Атынка (прав. пр. р. Казанки) расположены с. Средние Аты, Верхние Аты, Субаш Аты, Утар Аты, д. Нижние Аты. Из них с. Средние Аты и Верхние Аты на берегу р. Аты существовали во времена Казанского ханства [17. С. 284]. На современном кладбище с. Средние Аты имеются шесть надгробных камней, один из которых относится к концу XV в., остальные датируются I половиной XVI в. [10. № 201]. На месте старого кладбища южной окраины с. Верхние Аты имеются две надгробные плиты, датируемые началом XVI в. [10. № 202]. Возможно, к этому же ряду примыкает название Атенинка—пр. р. Мокши [34. С. 260].

Компонент аты имеется и в названии булгарского города Шонгаты, в настоящее время это городище «в 0,5 км к юго-западу от с. Шонгуты Апастовского р-на ТАССР на правом берегу р. Улемы» [2. № 1708; 46. № 518], а также в названии д. Шонгаты Апастовского р-на. В селе зафиксированы два селища позднебулгарского периода, кладбище, относящееся к общепулгарскому периоду, находки периода неолита и бронзы [46. № 518а—521]. Городище Шунгаты рядом с названной деревней упоминается и у Шпилевского [16. С. 498]. В источнике более позднего времени: «...влево от тракта находится большое село Шонгуты, около которого есть следы древнего городища» [9. С. 354]. Деревня Шонгут существовала во времена Казанского ханства [17. С. 281]. В д. М. Коккузы (Апаст.) зафиксированы родник Шонгы (Шонгаты чишмәсе) и оз. Шунгаты күле. В бывшем Ставропольском уезде Самарской губернии в р. Сок впадала р. Шунгут [9. С. 418, 429].

Компонент аты имеет место и в названиях д. Татар Урматы и Рус. Урматы, расположенных на р. Урмат суы Высокогорского р-на. Первая часть слова, видимо, восходит к этнониму орым/урым (урюм), зафиксированному в булгарском эниграфическом памятнике XIV в. [23. С. 222], а аты — компонент летописного этнонима «челматы». Архологами рядом с названными деревнями обнаружены селища древнебулгар-

ского, общеповолжского, болгарско-золотоордынского периодов и кладбища [2. № 1424—1427; 10. № 183—186, 188—189]. Деревня Урмат зафиксирована во времена Казанского ханства [17. С. 288]. Урмат упоминается в писцовой книге: «...деревня, чтоб была пустошь Урмат...» [37. С. 137 об.]. Наличие Урмат жыены позволяет говорить об этнонимическом значении этого слова у казанских татар [23. С. 224]. Урмат как собственное имя имеется и на шеджере, найденном Х. Х. Ярмухаметовым в с. Параньга в 1966 г. [23. С. 224].

Населенные пункты Урматы расположены недалеко от Иски Казани (Нового Булгара). Кладбище Иске зират в д. Татар Урматы старожилы называют кладбищем Иски Казани [10. № 188]. Кроме того, недалеко от вышеназванных деревень расположены деревни, в составе названий которых имеется компонент аты: Субаш Аты, Түбән Аты, Утар Аты и др.

Другое название д. Иванаево Рыбно-Слободского р-на Тупылат, по нашему мнению, также входит в эту же группу топонимов. Возможно, в названии Тупылат компонент ат восходит к части летописного этнонима чулматы — аты, а тупыл — это «тополь». В наименованиях городов волжских болгар названия деревьев как составная часть топонима встречаются часто: Тубылгытау, Жүкәтау и др.

Очевидно, сюда же относится и название летописного города волжских болгар — Балыматы. По мнению Г. В. Юсупова, Балымар — родовой этноним (летописный Балымат [23. С. 224]). С. Мельников отмечает, что Балымерское селение в старинных документах называется Балымат; город с таким названием был отдан князю Федору Ростовскому [45. № 15]. Балымерское городище раннебулгарского периода расположено в южной части с. Балымеры Куйбышевского р-на ТАССР на левом берегу Волги [2. № 729]: «...нижний слой Балымерского поселения может быть отнесен ко времени не позже VII в. н. э. Скорее всего, этот слой датируется IV—VII вв. н. э., т. е. предшествует памятникам типа Больше-Тарханского могильника» [49. С. 95]. Деревня на Ногайской дороге Балымеры упоминается в эпоху Казанского ханства [17. С. 284]. Рядом с д. Олы Тархан Куйбышевского р-на зафиксировано оз. Балымәр күле. Сюда же относится название татарского с. Атияз//Атыйаз Елабужского р-на.

**САКСИН.** В древние времена первым по значимости городом был Итил. После его разрушения возвысился второй город хазар, центр торговли и ремесел — Саксин. М. Кашгари называет его «городом сувар» [50. С. 4]. После нападения русского князя Святослава часть болгар переселяется на нижнюю Волгу [51. С. 20]. Арабский автор аль-Гарнати сообщает: «... в середине города (в Саксине. — Ф. Г.) живет эмир жителей Булгара, у них есть большая соборная мечеть, в которой совершается пятничное моление, и вокруг нее живут болгарцы» [15 С. 27]. По данным русских летописей, во время монгольского нашествия народ саксин вместе с волжско-камскими булгарами поднимается на борьбу с завоевателями [52. С. 192]. Аль-Гарнати сообщает: «... город, который называют Саджин (Саксин), в нем живут сорок племен гузов» [15. С. 27]. Космограф XIV в. Димешки называет Азовское море «морем Саксинским». Река русов и славян, под которой он разумеет Дон, вытекает из гор Саксинских [22. С. 1869]. В «Истории завоевателя мира» (1253—1260) Джувейни говорится: «... в сторону кыпчаков, Саксина и Булгара были посланы Куктай и Субатай-бахадур» [51. С. 21]. Следует отметить, что в восточной географии, особенно в персидской, слова Саксин, Булгар, саксины и булгары упоминаются вместе [7. С. 186].

**ЧИРМЕШӘН (ЧЕРЕМШАН)** встречается в разных источниках: в записках Ибн Фадлана зафиксировано в форме Джарамсан [33. С. 67],

в русских летописях — Черемисан [53. С. 96], в памятнике из с. Тяжбердино Алькеевского р-на ТАССР—Чэримсән [54. С. 86—87], в «Списке населенных пунктов Самарской губернии» — Черемшан [11. С. 26; 55. С. 126]. Названия рек Олы Чирмешән (Большой Черемшан — лев. пр. р. Волги): «... за Камою рекою есть порозжая ясачная земля от речки Большой Черемшаны, по речке Ахтале...» [45. С. 190] и Кече Чирмешән (Малый Черемшан — прав. пр. р. Большой Черемшан) упоминаются у А. Артемьева [11. С. 161], Д. А. Корсакова [36. С. 196] и др. По мнению М. З. Закиева, значение слова чермешән — «река масляного, смолистого и хвойного леса, т. е. река, которая протекает по масляному, смолисто-хвойному или хвойному лесу» [47. С. 170]. Кроме того, этимология этого слова дана Р. Г. Ахметьяновым как «место сбора войск, ориентир места сбора войск» [56. С. 120—123]. В бывшем Чистопольском уезде на берегу р. М. Черемшан у Д. Корсакова под номерами 26 и 27 зафиксированы «деревня верх Малого Черемшану, она же Майна, Студеной ключ и дер. Татарский Черемшан, она же Малый Черемшан, Майна тоже» [36. С. 212]. Чирмешән суы (р. Черемшан) — лев. пр. р. Булы, Чирмешән үзәге — прав. пр. р. Булы. Деревни Чирмешән в Черемшанском и Апастовском р-нах Татарской АССР. У с. Черемшан (Апаст.) зафиксированы селища раннебулгарского, местонахождения общебулгарского периода, находки периода неолита — бронзы и поселение с приказанской культурой [2. № 1510—1512; 10. № 196—202]. В бывшем Тетюшском уезде Д. А. Корсаков, кроме д. Чирмешән (Черемшан), зафиксировал «деревню Третьих Черемшан, Багишево тоже» [36. С. 339]. Эта деревня в современном Апастовском р-не (на расстоянии 0,5 км от д. Чирмешән (Черемшан) официально называется Багыш (Багишево). Раньше она называлась Третий Черемшан. Около деревни найдено селище дрегнебулгарского периода и находки балановского времени [46. № 203, 204].

В «Писцовой книге г. Казани» упоминается: «... деревня Черемшан на р. на Нурме» [57. С. 64]. У Д. Корсакова зафиксирована речка Черемшан — прав. пр. р. Ошнячки в Заказанье (басс. р. Камы [36. С. 180]). Со словом чирмешән образованы и микротопонимы: Чирмешән чаты (поле), Чирмешән болыны (луг), Чирмешән куаклыгы (роща), Чирмешән култыгы (луг), Чирмешән буге и др. Названия с данным словом встречаются и за пределами Татарии: река Кармасан и Чермасан в Приуралье, в частности в современной Башкирии (Чермасанский перевоз упоминается в документах времен Крестьянской войны 1773—1775 гг.) [58. С. 69]. «Хволинск считается раскольничим городом. В шести или семи верстах от него находятся знаменитые Черемшанские скиты, являющиеся одним из немаловажных в России духовных центров старообрядничества...» [9. С. 409]. В бывшем Ставропольском уезде «вер. в 25 выше Хрящевки на р. Черемшан расположено село Черемшан (Никольское), откуда начинается судоходство по р. Черемшану» [9. С. 409]. В Верхотуровском уезде бывшей Пермской губернии зафиксирована р. Черемшанка и на ее берегу д. Черемшанка [59. С. 14]. Все перечисленные выше названия связаны с волжско-булгарским наименованием Черемсан. Любопытно, что «р. Черемшан имеется на Алтае, в бассейне Верхнего Иртыша» [60. С. 75].

#### П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> История Татарской АССР. Казань, 1968.

<sup>2</sup> Фахрутдинов Р. Г. Археологические памятники Волжско-Камской Булгарии и ее территория. Казань, 1975.

- <sup>3</sup> Археологическая карта Татарской АССР. Казань, 1986. Ч. 1: Западное Закамье.
- <sup>4</sup> Базар заимствован тюркскими языками из персидского *bazar*.
- <sup>5</sup> Барбаро и Кантарини о России. Л., 1971.
- <sup>6</sup> Герберштейн С. Записки о Московии барона Герберштейна/Пер. И. Анонимова. Спб., 1866.
- <sup>7</sup> Фахрутдинов Р. Г. Очерки по истории Волжской Булгарии. М., 1984.
- <sup>8</sup> Эта ярмарка называлась еще и Арская ярмарка: «... московских гостей (купцов), приезжавших в Казань на Арскую ярмарку» [9. С. 122].
- <sup>9</sup> Россия: Полное географическое описание нашего отечества (Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье). Спб., 1901. Т. 6/Под ред. В. П. Семенова.
- <sup>10</sup> Археологическая карта Татарской АССР: Предкамье. М., 1981.
- <sup>11</sup> Артемьев А. Список населенных мест по сведениям 1859 г. Спб., 1866. XIV: Казанская губерния/Обработан А. Артемьевым.
- <sup>12</sup> Моллова М. Р. Ономастические исследования о «базар» и «басар»//Сов. тюркология. 1974. № 6.
- <sup>13</sup> Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М., 1984.
- <sup>14</sup> Гимади Х. Г. Народы Среднего Поволжья в период господства Золотой Орды//Материал по истории Татарии. Казань, 1948. Вып. 1.
- <sup>15</sup> Большаков О. Г., Монгайт А. Л. Путешествие Абу Хамида аль-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131—1153 гг.). М., 1971.
- <sup>16</sup> Шпилевский С. М. Древние города и другие булгаро-татарские памятники в Казанской губернии. Казань, 1877.
- <sup>17</sup> Чернышев Е. И. Селения Казанского ханства по писцовым книгам//Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань, 1971.
- <sup>18</sup> Радлов В. В. Опыт исследования тюркских наречий. Спб., 1893. Т. 1.
- <sup>19</sup> Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. 1.
- <sup>20</sup> Фахрутдинов Р. Г. Мелодия камней. Казань, 1986.
- <sup>21</sup> Ашмарин Н. И. Болгары и чуваша. Казань, 1902.
- <sup>22</sup> Хвольсон Д. А. Известия о хазарах, буртасах, болгарях, мадьярах, славянах и русских Абу-Али Ахмеда Бен Омар ибн-Даства, неизвестного доселе арабского писателя начала X века. Спб., 1869.
- <sup>23</sup> Юсупов Г. В. Булгаро-татарская эпиграфика и топонимика как источник к вопросу об этногенезе казанских татар//Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань, 1971.
- <sup>24</sup> Артамонов М. И. История хазар. М.; Л.: АН СССР, 1962.
- <sup>25</sup> Ахметьянов Р. Г. Об изменениях сингармонических цепочек в системе татарско-башкирского сингармонизма//Тез. докл. науч. конф. молодых ученых КИЯЛИ. Казань, 1967.
- <sup>26</sup> Брем Д. Жизнь животных. Спб., 1902. Т. 1.
- <sup>27</sup> Халиков А. Х. Отражение космогонических и генеалогических легенд волжских булгар в археологических материалах // Из истории ранних булгар. Казань, 1981.
- <sup>28</sup> Янина С. А. Новые данные о монетном чекане Волжской Булгарии в X в.//Материалы и исследования по археологии. М., 1962. Т. 3.
- <sup>29</sup> Ильинская В. А. Образ кошачьего хищника в раннескифском государстве//Сов. археология. 1971. № 2.
- <sup>30</sup> Акишев А. К. Новые художественные бронзовые изделия сакского времени//Прошлое Казахстана по археологическим источникам. Алма-Ата, 1976.
- <sup>31</sup> Износков И. А. Список населенных мест Мамадышского уезда//Тр. 4-го Археол. съезда в России, бывшего в Казани с 31 июля по 18 августа 1877 г. Казань, 1884. Т. 1.
- <sup>32</sup> Он же. Список населенных мест Казанского уезда с кратким описанием. Казань, 1885.
- <sup>33</sup> Ковалевский А. П. Книга Ахмеда Ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921—922 гг. Харьков, 1956.
- <sup>34</sup> Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки: Список рек и озер. М., 1976.
- <sup>35</sup> Булатов А. Б. Личные имена у древних булгар (VI—XVI вв.)//Ономастика Поволжья: Материалы 2-й Поволж. конф. по ономастике. Горький, 1971.
- <sup>36</sup> Список селений Казанской провинции за 1771—1773 гг. с подразделением провинции на даруги и «Ведомость о наместничестве Казанском, составляющемся в тринадцать уездов 1780—1783 гг.» //Сборник материалов по истории Казанского края в XVIII в./ Под ред. проф. Д. А. Корсакова. Казань, 1908.
- <sup>37</sup> Писцовая книга Казанского уезда 1602—1603 годов: Публикация текста. Казань: Изд-во КГУ, 1978.
- <sup>38</sup> Греков Б. Д., Калинин Н. Ф. Булгарское государство до монгольского завоевания//Материалы по истории Татарии. Казань, 1948. Вып. 1.
- <sup>39</sup> Саттаров Г. Ф. Ни өчен шулай аталган?: Татарстан топонимнары. Казань, 1971.
- <sup>40</sup> Ахметьянов Р. Г. Сравнительное исследование татарского и чувашского языков: Фонетика и лексика. М., 1978.
- <sup>41</sup> Словник гідронімів України. Київ, 1979.

- <sup>42</sup> *Износков И. А.* Список населенных мест Казанской губернии с кратким описанием их: Лайшевский уезд. Казань, 1895. Вып. 2.
- <sup>43</sup> *Спасский Н. А.* Очерки по родиноведению: Казанская губерния. Казань, 1913.
- <sup>44</sup> *Шпилевский С. М.* О задачах деятельности Казанского общества археологии, истории и этнографии // Изв. О-ва археологии, истории и этнографии. 1877. Т. 3.
- <sup>45</sup> *Мельников С.* Акты исторические и юридические и древние царские грамоты Казанской и других соседних губерний. Казань, 1859. Т. 1.
- <sup>46</sup> Археологическая карта Татарской АССР: Предволжье. Казань, 1985.
- <sup>47</sup> *Зәкиев М. З.* Татар халкы теленең барлыкка килүе. Казань, 1977.
- <sup>48</sup> *Саттаров Г. Ф.* Татарстан АССРның антропотопонимнары: Татарстан авылларының исемнәре. Казан, 1973.
- <sup>49</sup> *Генинг В. Ф., Халиков А. Х.* Ранние булгары на Волге. М., 1964.
- <sup>50</sup> *Махмуд Қошғарий.* Туркий сўзлар девони (Девону луготит турк). Тошкент, 1960. Т. 1.
- <sup>51</sup> *Таһирҗанов Г. Т.* Тарихтан әдәбиятка. Казан, 1979.
- <sup>52</sup> Полное собрание русских летописей. Спб., 1846. Т. 1.
- <sup>53</sup> То же. 1856. Т. 7.
- <sup>54</sup> *Хакимзянов Ф. С.* Язык эпитафий волжских булгар. М., 1978.
- <sup>55</sup> *Протопопов И. А.* Список населенных мест Самарской губернии, составлен в 1900 году секретарем Самарского губернского статистического комитета И. А. Протопоповым. Самара, 1900.
- <sup>56</sup> *Ахметьянов Р. Г.* К этимологии слов чирү «войско», чирмеш «черемись» и топонима Черемшан—Чиремшән // Военно-оборонительное дело домонгольской Булгарии. Казань, 1985.
- <sup>57</sup> *Невострюев К. И.* Список с писцовых книг по г. Казани с уездом. Казань, 1877.
- <sup>58</sup> Старотатарская деловая письменность / Сост., пер., коммент., исслед. канд. филол. наук Ф. С. Фассева. Казань, 1981.
- <sup>59</sup> Список населенных мест Пермской губернии: Верхотуровский уезд. Пермь, 1909.
- <sup>60</sup> *Барашков В. Ф.* Топонимия Ульяновской области: Пособие по краеведению. Ульяновск, 1974.

И. Н. ШЕРВАШИДЗЕ

ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭТИМОЛОГИИ ИМЕН AŠINA И ATILA —  
АВИТОХОЛЬ

1. AŠINA. Хотя происхождение названия главного древнетюркского родоплеменного объединения Ašina издавна привлекает к себе внимание исследователей, однако до сих пор оно так и не получило удовлетворительного объяснения. В постановке данной проблемы наиболее значителен тезис С. Г. Кляшторного [1. С. 111—112] — о вероятном иранском происхождении слова, поскольку «предки ашина обитали на территории, где преобладали иранские и тохарские языки» (но этимология от хотано-сак. ašāna 'достойный, благородный' маловероятна — в первую очередь ввиду отсутствия непосредственных сакско-тюркских контактов).

Следует обратить внимание на особую значимость синего цвета в древнетюркской символической системе. Этот цвет, как и в мифологических представлениях других народов, идентифицируется с цветом Неба и божественным началом. Здесь можно прежде всего вспомнить о мотиве синей шерсти тюркской волчицы — родоначальницы племени (матери или кормилицы героя Ашина), о роли слова kōk 'синий' в тюркской этнонимике (kōk tūrk, топонимике (Kōk-su) и ономастике (Kōk Böri, Kōk Lū) [2—4] (предлагаемая А. Н. Кононовым трактовка сочетания kōk tūrk как 'восточные тюрки' со ссылкой на остроумную догадку А. фон Габэн неприемлема из-за отсутствия противоположного цветового признака в названии западных тюрков или в обозначении любой иной части света).

Представляется вполне вероятным предположение о древности kōk (пра-тюрк. \*gō:k) в качестве одного из древнетюркских этнонимических атрибутов. В таком случае можно допустить на тюркской почве раннюю субституцию собственно тюркского эпонима \*gō:k на заимствованный иранский \*ašina (\*ašina) 'синий'; ср.: авест. axšaēna-, др.-перс. axšaina-, ср.-перс. axšēn, хаšēn, хотано-сак. asseina-, согд. 'γs'yn и др. [5. С. 220; 6. С. 282—283]. Конкретным источником тюркской формы могла быть, в частности, согдийская форма \*'xs'p' [axšēna] ввиду наибольшей активности древних согдийско-тюркских лексических контактов [7]. В пользу согдийского источника обособленно свидетельствует китайская запись имени юного вождя из второй версии тюркской легенды [8. С. 490]. Для среднекитайского периода оно транскрибируется как \*'āyien-šet (по С. А. Старостину) и отражает условную передачу тюркского произношения типа Axšēn (a)-šad.

В заключение интересно отметить значение 'бирюза', зафиксированное для древнеиранского axšaēna-, а также мид. \*axšainafaina-, др.-перс. \*axšainaxvaina- 'türkisfarben, бирюзовый' [9. С. 25]. Представляется существенной связь названия бирюзы в ряде европейских языков

(фр. *turquoise* — с XIII в., нем. *Türkis*, позднелат. *turchesia* и др.) с этнонимом *türk*, свидетельствующая об особой роли синего цвета и бирюзы у древних тюрков (аналогичные переносы этнонимов на характерные для соответствующих этносов объекты распространены довольно широко; ср. хотя бы английское — с XVII в. — обозначение фарфора — *china*, восходящее к названию Китая).

2. *ATTILA*. Имя гуннского вождя Аттилы многократно обсуждалось в этимологической литературе. Наиболее распространенная и общепринятая в настоящий момент версия — трактовка *Attila* на готской почве как 'батюшка' (гот. *atta* 'отец' с уменьшительным суффиксом *-l-*), ср. в [10. С. 97—99]: «Имя Аттила безупречно и без малейшего сомнения этимологизируется на готской почве и означает по-готски „батюшка”... Я считаю совершенно бесперспективным искать какую-то лежащую в основе „гуннскую” (или тюркскую) базисную форму».

Действительно, тюркские этимологии, предложенные О. Прицаком [11] и Р. Рейнольдсом [12], как справедливо отмечает Г. Дёрфер (там же), вряд ли заслуживают доверия. На наш взгляд, основания для того, чтобы продолжить поиски тюркской этимологии имени Аттилы, все же есть.

В дунайско-болгарском княжеском именнике перечень болгарских ханов начинается с гуннских вождей V в. Авитохол (Аттилы) и Ирника (его любимого сына, правившего булгарами, которых принято считать одним из подразделений гуннов, после распада державы Аттилы). Имя Авитохол обнаруживает определенное сходство с *Attila*, но явно не совпадает с ним и уже вряд ли может этимологизироваться на германской почве.

Из исторических источников хорошо известен бешеный нрав Аттилы. В «Песне о Нибелунгах» Аттила (ср.-в.-нем. *Etzel*) фигурирует с эпитетом *Godegisel* 'Бич Божий'. Возможно поэтому думать, что Авитохол — «эллинизированная» передача имени Аттилы как греч. \**Αυιοχόλος* 'сама злоба, ярость', 'воистину желчный, яростный' или 'сам на себя злой, во гневе', ср.: греч. *αυιοχόλιος* 'сам против себя раздраженный' (в княжеском именнике представлено без греческого падежного окончания, внутри слова стечение согласных разделено гласным *-и-*). Существенным компонентом этого имени является *χολή*, *χόλ-ος* 'желчь; желчный, раздражительный, гневный, яростный, злой'.

Общетюркское название желчи — \**ō:t* отражено в современном чувашском языке (потомке древнебългарского) как *vat*. В древнебългарском должна была существовать форма \**awat* с последующей редукцией начального краткого *a-* (нормальный рефлекс общетюркского \**ō*: в чувашском — *äva-* в *инлауте* и *va-* в *анлауте*, см., например, [13. С. 707.]).

Что касается второй части имени Аттилы, то здесь, по нашему мнению, можно усматривать общетюркское \**däli* 'безумный, безрассудный' [14. С. 214—217]. В древнебългарском эта основа должна была трансформироваться в \**tili*, ср.: чуваш. *tilĕ-g-* 'беситься; приходить в ярость, свирепеть, неистовствовать, бесноваться'.

Итак, если имя Аттилы этимологизировать на тюркской (древнебългарской) почве, то оно должно было звучать как \**Awat-tili* и означать дословно 'яростно (желчно)-бешеный (безумный)'. Подобные имена — не редкость среди имен тиранов; ср.: король Наварры Карл II Злой (*Carlos II el Malo*), турецкий султан Селим I Свирепый (*Selim I Yavuz*), царь и великий князь всея Руси Иван Грозный (Иван Васильевич IV Грозный) и т. п.

В пользу предложенной трактовки имени Аттилы можно выдвинуть следующие дополнительные аргументы:

1. В настоящее время имеются серьезные доводы в пользу принадлежности языка сунну (= гуннов) к тюркским языкам (во всяком случае, тюркский компонент среди гуннов должен был быть весьма существенным); последнюю попытку тюркской трактовки знаменитого гуннского двустишия см. в [15. С. 3—10];

2. Българское истолкование имени Аттилы (= \*Awat-tili) позволяет объяснить эллинизированную передачу этого имени как Авитохоль (\*Αυτο-χόλος) в дунайско-болгарском именнике. Греческая передача сохранила, по-видимому, как общее звучание имени (с некоторыми, вероятно, каламбурными искажениями), так и его значение ('желчный, яростный'). Более того, трактовка имени Аттилы как словосложения позволяет парировать главный фонетический аргумент противников тюркской этимологии — нехарактерность геминированных согласных для древнетюркского.

В свете предложенного объяснения толкование Attila на германской почве как 'батюшка' следует признать народной этимологией — результатом приспособления иноязычного (древнебългарского) имени \*Awat-tili к германской языковой среде.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Кляшторный С. Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964.
2. Кононов А. Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках//Тюркологический сборник. 1975. М., 1978.
3. Sinor D. The legendary Origin of the Türks//Folklorica: Festschrift for Felix J. Oinas. Bloomington, 1982.
4. Шервашидзе И. Н. К этимологии тюрк. Ašīna//Тез. докл. и сообщ. 3-й Всесоюз. конф. востоковедов «Взаимодействие и взаимовлияние цивилизаций и культур на Востоке» (Душанбе, 16—18 мая 1988 г.). М., 1988. Т. 1.
5. Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.; Л., 1958. Т. 1.
6. Он же. Скифо-сарматские наречия//Основы иранского языкознания: Древнеиранские языки. М., 1979.
7. Шервашидзе И. Н. Фрагмент общетюркской лексики: Заимствованный фонд//Вопр. языкознания. 1989. № 2.
8. Liu Mau-tsai. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T'uküe). Wiesbaden, 1958. II Buch.
9. Hinz W. Altiranisches Sprachgut der Nebenüberlieferungen. Wiesbaden, 1975.
10. Дёрфер Г. О языке гуннов//Зарубежная тюркология. Вып. 1: Древние тюркские языки и литературы/Сост. Кляшторный С. Г. М., 1986.
11. Pritsak O. Der Titel Attila//Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag am 28. Februar 1956. Berlin, 1956.
12. Reynolds R. L., Lopez R. S. Odoacer: German or Hun//American Historical Review. 1946. Vol. 52.
13. Benzing J. Das Tschuwaschische//Philologiae Turcicae Fundamenta. Wiesbaden, 1959. Т. 1.
14. Севортьян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на буквы «В», «Г» и «Д». М., 1980.
15. Шервашидзе И. Н. Формы глагола в языке тюркских рунических надписей. Тбилиси, 1986.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Х. ИСМАЙЛОВ

## АБДУЛХАМИД ЧУЛПАН — КАК ПЕРЕВОДЧИК

Абдулхамид Чулпан (1893—1937) — одна из самых трагических фигур в истории узбекской поэзии XX в. Признанный уже в молодости «первым среди поэтов», он затем в течение 10 лет подвергался критике узбекского РАППА. В 1937 г. как «националистический агент мировой буржуазии в узбекской советской литературе» он вместе с другими крупнейшими представителями узбекской словесности — А. Кадыри, А. Фитратом, У. Насыром был репрессирован и расстрелян.

В 1956 г. А. Чулпан был реабилитирован, однако и посмертная его судьба оказалась трагичной. Вот уже 30 лет собираются и распускаются комиссии по изучению его литературного наследия, стихи его до сих пор, за исключением нескольких журнальных публикаций, ходят в списках и клеймо «националиста» так и не снято с имени поэта.

А ведь именно Абдулхамид Чулпан (и против этого вряд ли смогут возразить даже те, кто навешивал и навешивает на него этот ярлык) является основоположником узбекской школы художественного перевода. Мало кто из узбекских писателей сделал столько для ознакомления наших читателей с мировой и прежде всего — с русской литературой. Вот далеко не полный перечень осуществленных Чулпаном переводов: «Гамлет» Шекспира, «Скупой» Мольера, «Борис Годунов», «Дубровский» Пушкина, «Принцесса Турандот» К. Гоцци, стихи Гейне, Саят-Новы, Шевченко, Блока, Д. Бедного, Э. Верхарна, А. Лахути, китайских поэтов, «Интернационал» Э. Потье, повести Гоголя, Тургенева, рассказы Чехова, «Мать» Горького и др.

Не могут не поражать обилие и диапазон осуществленных им художественных переводов, особенно если учесть, что он не переставал писать стихи, полные медитации, глубокой самобытности.

Соотнося эти переводы с биографией поэта, можно проследить, как формировался Чулпан-переводчик и в то же время косвенно попытаться постичь, как менялся круг интересов поэта, волнующих его проблем. Высокий художественный уровень переводов позволяет сделать вывод, что в них Чулпан привносил свои чувства и мысли, что в его представлении это были мосты, связывавшие народы, культуры.

Именно как о «золотом мосте» говорит о переводе Чулпан в одной из своих ранних статей «Великий индиец», посвященной Рабиндранату Тагору: «Прочтя многое на русском языке, я загорелся желанием познакомить свой народ с этим великим человеком (Р. Тагором) ... И хотя дрожала рука и трепетало сердце ... я твердо решил построить своему народу этот „золотой мост“ между Востоком и Западом» [1. С. 75—76].

Если считать эту статью и сопровождающие ее переводы из Тагора началом «профессиональной» переводческой деятельности поэта, то

надо также помнить, что к тому времени Чулпан был уже сложившимся поэтом. Были изданы три из пяти его прижизненных поэтических сборников: «Молодые узбекские поэты», «Пробуждение», «Ключи» — большая часть сохранившегося стихотворного наследия поэта.

В юности он окончил андижанскую русско-туземную школу, где и овладел в совершенстве русским языком. Затем учеба в медресе, изучение арабского, фарси, турецкого языков. Оттуда он сбежал, увлеченный революционным движением. «Вместо того, чтобы сделаться мударисом, я решил сделаться национальным узбекским писателем и бежал от отца и мулл в Ташкент», — скажет он в беседе с известным русским писателем Василием Яном [2]. Он печатался и работал в коммунистических газетах «Окна ТуркРОСТА», «Иштирокиюн» («Коммунист»), «Туркестан» и других, писал пьесы. В те же годы перевел на узбекский язык текст «Интернационала» Э. Потье, который стал гимном Туркестанской Республики.

Чуть позднее Чулпан уехал в Москву, где стал руководить Узбекской драмстудией при театре Е. Б. Вахтангова в 1925—1927 гг. Статьи и заметки «Тюркский перевод „Шах-наме”», «Жорж Дандин», «Принцесса Турандот» и другие свидетельствуют о том, что в центре внимания Чулпана как художника были проблемы синтеза западной и восточной культур. Он сравнивает, отвергает, ищет пути этого синтеза в мировой литературе. В сфере его литературных интересов тех лет — поэзия Фирдоуси, В. А. Жуковского, Ризо Тауфика, драматургия Ж.-Б. Мольера, произведения Габдуллы Тукая и Рабиндраната Тагора.

Московский период жизни Чулпана отмечен его дружбой со многими русскими писателями, драматургами, переводчиками. Среди них В. Ян, Г. Шенгели, Е. Ланн, С. Третьяков, П. Орешин и др. Он переводит пьесы, которые ставятся силами узбекской студии («Слуга двух господ» К. Гольдони, «Скупой» Ж.-Б. Мольера, «Принцесса Турандот» К. Гоцци, «Рычи, Китай» С. Третьякова и др.). Судя по его заметкам в газетах тех лет, Чулпан пытается сравнивать природу идейно-эмоционального воздействия этих произведений с природой восприятия узбекской аудитории, приблизить свои переводы к смеховым традициям узбекского народа. Перевод пьес «Рычи, Китай» С. Третьякова, «Худжум» В. Яна он обогащает сценами, песнями, подчеркивающими восточный колорит. Кроме того, в эти годы, сотрудничая с такими крупными теоретиками, мастерами перевода, как Г. Шенгели и Е. Ланн, Чулпан глубоко изучает проблемы перевода, его талант совершенствуется.

Именно в московские годы начались гонения на поэта, когда его, по выражению В. Яна, «затравили свои завистливые местные „авербахи”» [2]. С 1926 по 1934 г. стихотворения Чулпана почти не публикуются.

В журнале «Аланга» («Пламя») № 1 за 1930 г. была напечатана статья Г. А. Шенгели «Техника художественного перевода», переведенная на узбекский язык, по всей видимости, Чулпаном [4]. Этот вывод можно сделать исходя из анализа стилистики перевода, а также заключительной части статьи, где в качестве примера подстрочного и художественного перевода приводятся варианты и переложения Г. Шенгели и Чулпаном на русский и узбекский языки стихотворения Э. Верхарна «La mer» («Море»).

Эта статья интересна тем, что свидетельствует о некоторых общих для Шенгели и Чулпана теоретических предпосылках перевода и показывает, как два поэта воплощают эти принципы в художественной практике.

Общими предпосылками успешного перевода Г. Шенгели считает:

1) свободное владение иностранным и родным языками; 2) знание истории мировой литературы; 3) изучение теории стихосложения; 4) умение сопоставлять оригинал с переводом.

Вот как переводят оба поэта «Море» Э. Верхарна.

*Подстрочник*

La mer choque	Море бьет
Des blocs	Сгустки
Des flots	волн
Contre les rocs,	об утесы —
Ou les granits du quai,	гранитные берега.
La mer montante,	Море вздымающееся,
Faillante	Гремящее,
A gémissante	Жалующееся
Dans la tourmente	Б смятении
Des ces houles montantes...	Своих громоздящихся бездн...

*Вариант Г. Шенгели*

Крутыми глыбами валы из мглы в скалы (а-а-а)

В гранит	(в)
Мчит	(в)
Море, воя,	(с)
Безумствуя, удвоя	(с)
Пыл прибоя,	(с)
Стремя смятенье волновое	(с)

*Вариант Чулпана*

Денгиз кутурди,	(а) Море взбесилось,
ўрнидан турди,	(а) с места встало,
ховликиб юрди,	(а) волнуясь, пошло,
зўр тўлқинларни	(в) мощные волны
Олдинга сурди, сурди, сурди	(а) вперед двинуло, двинуло, двинуло
ва қояга урди!	(а) и о скалу ударило.
У тентакланиб,	(с) Оно, беснуясь,
боши айланиб,	(с) с головой, идущей кругом,
қаъридан қайнаб	(д) вскипая из бездны
ва феъли айнаб —	(д) и нрав свой дурной выказывая,
қулоч отади,	(г) объятия раскрывает;
шошқин сувлардан	(з) из опешивших вод
чанг кўзғотади;	(г) пыль подымает;
ўқуришлардан	(з) Из рычанья,
бўқуришлардан	(з) рыка,
ва ғув-ғувлардан	(з) воя
сайға отади...	(г) рев вздымает.

Мы не задаемся целью сравнивать качество переводов и тем более умалять или восхвалять достоинства какого-либо варианта. Но следует отметить, что перевод Чулпана продиктован органикой узбекской поэтической речи и ее слуховым восприятием. Это — подлинная поэзия, полная почти осезаемой динамики нарастающего движения морской стихии, здесь — тончайшая оркестровка, гулкая звукозапись. В конце начальных строк — открытая гласная, словно таящая в себе возможность продолжения движения, в строке же, описывающей удар о скалы, рифма держится на закрытом слоге и по звучанию почти идентична рифмоиду Верхарна: «ай»—«дан». И только в последней строке рев моря прорывается в пространство заключительной гласной...

Этот же перевод показывает и другую грань таланта Чулпана-переводчика. Даже в этой, по существу, пейзажной зарисовке Верхарна (в оригинале лишь один раз употребляется глагол, все остальные слова обозначают качества и признаки моря), наверняка переведенной обоими поэтами с утилитарной целью — для иллюстрации положений статьи, — Чулпан остается верен своим поэтическим приемам, воплощая

в стихах образ моря как прекрасной и устрашающей силы, родственной самой поэзии. Так он писал о море и в своих стихотворениях «Шторм», «Огненная вода» и др.

На начало 30-х годов приходится пик переводческой деятельности Чулпана. И опять, соотнося переводимые им произведения с его жизнью в ту пору, когда переводы стали для него чуть ли не единственной отдушиной, спасением, можно догадываться о глубине поистине гамлетовских сомнений, терзавших его душу и разум.

Именно в эти годы в сотрудничестве с Евгением Ланном Абдулхамид Чулпан переводит трагедию Шекспира «Гамлет»:

Ё ўлиш, ё қолиш, гап шунда.

Ажабо, қайси бири шарафлик ва олийжаноб:

дилозор фалакнинг зарбаларига чидашми,

ёки балолар денгизига қарши бел боғлаб,

уларга қарши кўзгалиб, уларни барҳам беришми?

В 1934 г. перевод вышел отдельным изданием с обширными комментариями Е. Ланна.

Качество перевода, сравнение его достоинств с последующими вариантами, осуществленными узбекскими поэтами, рассмотрены в статье Д. Гуламовой «Переводы „Гамлета“», опубликованной в журнале «Шарк юлдузи» (1970. № 12). Автор, в частности, предполагает, что «полная противоречий, сложная натура поэта побудила его приступить к переводу „Гамлета“ на узбекский».

В 30-х годах Чулпан переводит русскую классику: А. С. Пушкина — «Дубровский» (1937), «Борис Годунов» (1937), Н. В. Гоголя — «Шинель» (издана в 1931 г.), «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1931), И. С. Тургенева «Крепостная» (1929), А. П. Чехова — «Беглец» (1930), «В овраге» (1931), «Ванька» (1936), «Егеря», «Анна на шее» и другие рассказы (1937), М. Горького — «Мать», ряд рассказов, Серафимовича — «На льдине», «Бабыя деревня». Большинство этих переводов неоднократно переиздавалось в те же годы.

Чулпан явился первооткрывателем русской классической литературы для массового узбекского читателя, именно он заложил основание «золотого моста», соединившего русскую и узбекскую словесность. Трудно переоценить сделанное им, особенно если иметь в виду, что в ту пору перевод произведения русской литературы приобщал массы не только к мировой культуре, но и, через постижение души, характера, нравов русского народа, к революции и ее идеалам.

Кроме того, следует иметь в виду, что если исторически узбекская литература достигла огромных высот в поэзии, то традиции реалистической прозы как таковой не существовало (родоначальником узбекской романистики, например, считается А. Кадыри, написавший «Минувшие дни» в 1925 г.), а потому переводы прозаических шедевров русской и иных литератур, осуществленные в те годы Чулпаном, были школой мастерства для начинающих узбекских писателей.

30-е годы и впрямь были отмечены пролеткультовским напором литературной молодежи, для которой вся дореволюционная культура была архаикой, причем этого поветрия не избежали многие впоследствии видные узбекские писатели. Так, Камиль Яшен, создавший инсценировку по «Фархад и Ширин» Алишера Навои в 1944 г., в те годы, к примеру, писал: «Зачем пролетарской сцене сегодня „Фархад и Ширин“, вся эта придворная литература..?» [6].

Но уже в 1931 г., переводя «Шинель» Гоголя, Чулпан великолепно использует архаически-канцелярский слой узбекского языка, передавая

мелодику гоголевской речи. Определению «вечный титулярный советник» он находит узбекский эквивалент «абадий унвон инофи», «вицмундир» обретает узбекский артикул «мансаб жамаси». Удивительно в духе Гоголя здесь то, что слова — узбекские, но сочетания их — грамматически вполне правильные — не имеют для узбекского читателя никакого предметного наполнения и, стало быть, остаются самобытной инонациональной экзотикой.

В том же году впервые был издан узбекский перевод «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Вот несколько характерных сносок, высвечивающих некоторые грани работы Чулпана над повестью. На с. 17: «бурый» — в полном русско-узбекском словаре переведен как «қораматъ», я же здесь воспользовался словарем тюркских диалектов (слово «курранг») [7]. На с. 20 текст, где речь идет об Иване Никифоровиче, который носится с ружьем, как «с писаной торбой», Чулпан переводит близко к оригиналу, но в сноске замечает: «хотелось близости к оригиналу, хотя у нас в таких случаях говорят: „нокас темир тароққа ёпишкандай“». На с. 50, где дается текст прошения Ивана Никифоровича в поветовый суд: «Это прошение от начала до конца, а особенно же до сих пор написано чрезвычайно безграмотно; в нем ничего невозможно понять. Потому и мы здесь были вынуждены подражать этому. По этой причине тут нет никаких знаков препинания, кроме точек». Перевод этого прошения является шедевром узбекского архаико-сословного канцелярита с бурлесковой путаницей и едкой пародийностью.

Чулпан был первым переводчиком, познакомившим узбекского читателя с рассказами Чехова. Можно лишь предполагать, что, профессионально занимаясь театральной деятельностью, он знал драматургию Чехова и, быть может, это послужило толчком к увлечению его чеховской прозой. Чулпан был очень разборчив в своих литературных пристрастиях. По количеству переведенных им произведений Чехов стоит на первом месте.

К сожалению, немного произведений было написано Чулпаном в 30-х годах, перед его трагической смертью. Его повесть «Ев» («Враг») и роман-диалогия «Кеча ва кундуз» («Ночь и день») испытали на себе плодотворное влияние русской литературы, как об этом говорил сам автор. Вот что он писал, к примеру, о своем переводе романа Горького «Мать»: «Я был удостоен чести перевести самую сильную и главную вещь Горького „Мать“. О качестве перевода пусть скажут другие, я же хочу сказать лишь вот о чем: я учился у Горького языку прозы, он, по-моему, очень любит язык, на котором пишет, он хочет видеть его лишенным каких бы то ни было недостатков. Именно таков язык романа. „Мать“ стала для меня большой школой. Работая над своим романом „Ночь и день“, я постоянно испытывал благотворное влияние этого великого стиля» [8].

Глубоким проникновением в тайны писательского мастерства отмечены и другие переводы. В «Утре», небольшом рассказе М. Горького о смерти Льва Толстого, есть два русских народных четверостишия, которые переведены Чулпаном с таким мастерством, что они могли бы сойти за узбекские народные куплеты:

Гўзал — гўзалдир  
сўлган чоқда ҳам.  
Бизлар севамиз  
ўлган чоқда ҳам...

«Мать» в переводе Чулпана стала значительным литературным событием, выдержала большое число переизданий, причем как при

жизни переводчика, так и после его гибели, когда даже упоминание его имени как «врага народа» было запрещено. Так, в издании романа, осуществленном в 1950 г. под редакцией Абдуллы Каххара, фамилия переводчика не указана [9]. Текст же несколько осовременен и облегчен. Если Чулпан в начальном абзаце романа переводил «рабочую слободку» как «ишчилар қўрғончаси», то в отредактированном варианте это словосочетание переводится как «ишчилар посёлкаси»; «мускулы», переведенные Чулпаном посредством слова «мушаклар», превращаются снова в «мускуллар» и т. д.

Подобная «правка» постигла и вершину труда Чулпана — перевод пушкинского «Бориса Годунова» [10]. Нужно отметить, что Чулпан не только перевел Пушкина, но и писал стихотворные вариации на его темы, использовал пушкинские мотивы, неоднократно обращался к исполинской фигуре великого русского поэта.

Чулпан, как бы предчувствуя свой трагический конец, перевел «Бориса Годунова» так, словно говорил о себе:

Но близок день, лампада догорает,  
еще одно последнее сказанье...

Муҳлат яқин, тездан сўниб битажак чироқ, —  
яна битта, энг оҳирги ривоят қолди.

История создания этого перевода, как и почти всего, что связано с биографией Чулпана, может быть восстановлена лишь косвенно. В 1937 г., к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина, в Узбекистане широко переводились произведения поэта. Миртемир переводил лирику, Хамид Алимжан — «Русалку», Айбек — «Евгения Онегина» и т. д. Чулпан, видимо, также к этой дате осуществил перевод «Дубровского» и «Бориса Годунова». Год смерти Пушкина спустя век стал по роковому совпадению зловещим годом гибели и Чулпана.

Поразительно мастерство Чулпана-переводчика, сумевшего вдохнуть в повествование современность и, с другой стороны, сохранить дух и пушкинского, и XVII веков, добиться почти идентичного интонационного звучания произведения на узбекском языке и в то же время оставить его полностью русским. Каким образом достигается это? Вот строки из монолога Шуйского:

Иқрор қилай у вақтда Борис ўзини  
Вазмин олиб, қўрилмаган безбетлик билан  
Ҳақ кишидай қўзларимга бақрайиб олди.  
Тафсилотни сўраштириб, яхши тергади,  
Сўнгра қанча ноҳақ, сўзни шипшитди менга.  
Мен ҳам уни эл олдида такрорлаб бердим.

Прежде всего обращает на себя внимание характерная для узбекского языка (в котором глаголы и глагольные формы располагаются, как правило, в конце предложения) синтаксическая инверсия — с вынесением глагольной группы «иқрор қилай» в начало предложения, что подчеркивает предопределенность утверждения. При этом сами словосочетания также употребляются в нехарактерной для узбекского языка форме: «иқрор қилай», «ўзини вазмин олиб», «қўрилмаган безбетлик билан», «қўзларимга бақрайиб олди» и т. д. Причем эта нехарактерность далека от неправильности, хотя для узбекского языка более правильны иные формы: «иқрор бўлмоқ», «вазмин тутиб», «мислсиз безбетлик», «бақрайиб қолди». Эти допустимые отклонения несут в себе семантику иного языка, воплощая то условное отстранение, которое поз-

воляет этому высказыванию оставаться речью русского боярина, а не узбекского хана. Можно привести большое число таких «смещенных» словоупотреблений, которыми изобилует узбекский текст «Бориса Годунова»: „рухни бериб“, „тинкасига теккан“, „қулок бергин“, „тариҳни сенга берай“, „онт бўлсинки“. На наш взгляд, в подобном переводе значительно больше художественной правды, нежели в возможном обращении русского текста в эквивалентный узбекский.

Высокое искусство перевода как процесса выражения его автором собственного поэтического «я» наглядно подтверждается афористическими строками последней прижизненной журнальной публикации отрывка из «Бориса Годунова» в переводе Чулпана:

Хақ хукмидан қочиш мумкин бўлмаганидек,  
Халқ хукмидан қочишинг ҳам мумкин бўлмайди!

У Пушкина этот афоризм звучит так:

И не уйдешь ты от суда мирского,  
как не уйдешь от божьего суда.

Мастерство Чулпана-переводчика проявляется и в том, с каким тщанием он отыскивает полновесные узбекские эквиваленты каждому пушкинскому слову, например, в следующем фрагменте:

Мен ҳам чопдим. Бутун шаҳар ўша ердайди.  
Пичоқланган ёш шаҳзода ерда ётарди;  
Тепасида эс-хушидан ажралган она,  
«Сут она» ҳам яна дод деб дунёни бузган;  
Жаҳли чикқан оломон ҳам — ана у динсиз  
Хиёнатчи энагани судраб юрибди...

Гляжу: лежит зарезанный царевич;  
Царица-мать в беспамятстве над ним,  
Кормилица в отчаяньи рыдает.  
А тут народ остервенясь волочит  
Безбожную предательницу-мамку...

Перевод «Бориса Годунова» — это подвиг Чулпана, это умноженный и усиленный всем опытом русской классической литературы — от Пушкина до Достоевского — глас, взывающий: «А нравственно ли царство, в основание которого положено хоть одно замученное дитя?!»; это произведение, которое и само вопрошает каждым своим словом: «А нравственно ли время, в котором замучен хоть один поэт?!».

Чулпан был полон творческих сил и планов. Без сомнения, он многое еще мог бы написать, а как переводчик возвести еще не один «золотой мост».

Пришло время справедливо оценить огромные заслуги Чулпана перед узбекской литературой, учить на его произведениях молодежь широте творческих взглядов, любви к родному языку и прекрасному знанию других и прежде всего — русского языка, пришло время и нам — пусть поздно, но непременно — строить свои «золотые мосты» по направлению к Чулпану, сказавшему некогда словами своего программного стихотворения «Муза»:

Чечаклар ўсгуси кўз ёшларимдан,  
Бўғунлар унгуси ўйлошларимдан...

Из слез моих распустятся растенья,  
Из дум моих родятся поколенья...

## П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> Маориф ва ўқитғучи. 1925. № 7—8.

<sup>2</sup> Из дневника В. Яна — запись от 7 окт. 1933 г., любезно предоставленная сыном писателя М. В. Янчевецким.

<sup>3</sup> Маориф ва ўқитғучи. 1925. № 5—6.

<sup>4</sup> В те годы Чулпан нередко был вынужден печататься анонимно, и приведенный пример далеко не единственный.

<sup>5</sup> Шекспир В. Хамлет/Пер. Чулпана. Ташкент; Самарканд, 1934. На узб. яз.

<sup>6</sup> Абдусаматов Х. Овеяно новаторством. Ташкент, 1979.

<sup>7</sup> Гоголь Н. Иван Иванович билан Иван Никифорович ораларида бўлиб ўтмиш низолар ҳикояти/Пер. Чулпана. Ташкент; Баку, 1931.

<sup>8</sup> Шарқ юлдузи. 1968. № 7.

<sup>9</sup> Горький М. Она. Тошкент, 1950.

<sup>10</sup> См., например: [11], где представлены «Русалка» с указанием переводчика — Х. Алимжана и «Борис Годунов» без фамилии переводчика.

<sup>11</sup> Пушкин А. Драмалар. Тошкент, 1941.

Г. М.-Р. ОРАЗАЕВ

### АРАБОГРАФИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ XVII—НАЧАЛА XX в. ПО ИСТОРИИ КУМЫКСКОГО ЯЗЫКА

В известной работе акад. А. Н. Кононова, посвященной истории изучения тюркских языков в России, где в числе других языков представлен также кумыкский [1. С. 70, 245—248], содержится свод сведений о материалах, которые могут служить источниками по его истории. Однако почти ни один из этих материалов не стал до сих пор объектом более или менее детального изучения, за исключением русско-кумыкского разговорника, дошедшего до нас в копии, снятой акад. К. Г. Залеманом в 1871 г. (исследован Н. К. Дмитриевым).

Н. К. Дмитриев считал текст упомянутой рукописи «едва ли не единственным примером старых датированных записей по кумыкскому языку» [2. С. 185]. К сожалению, до сих пор остаются неизвестными другие источники.

В упомянутой работе А. Н. Кононова, а также в «Биобиблиографическом словаре отечественных тюркологов» [3] приводятся сведения о многих исследователях кумыкского языка, собирателях и издателях текстовых материалов дореволюционного периода. Это И. Р. Адамов, Ф. П. Аделунг, А. Акаев, М. Г. Афанасьев, Е. Г. Вейденбаум, И. А. Гильденштедт, К. Г. Залеман, Г.-Ю. Клапрот, Ф. Е. Корш, Крашенинников, Л. Г. Лопатинский, Т. Н. Макаров, М. В. Мохир, Ю. Немет, М. У. Османов, П.-С. Паллас, В. Д. Смирнов, А. В. Старчевский, З. И. Тактаров, А. Цаллагов, А. А. Шифнер, Ф. И. Янкович де Мириево.

Этот список можно дополнить именами местных авторов, издававших разного рода тексты на кумыкском языке в первой четверти XX в. — с появлением в Дагестане лито- и типографских предприятий. Это, кроме упомянутого А. Н. Кононовым А. А. Акаева, — Абдулхалим из Н. Дженгутая, Абдулхаким, сын Шихаммата, из Эрпели, Абдурашид, сын Хасболата, из Эндирея, Ансар Магомед-Кадиев, Асельдер из Эндирея, Биалал, сын Алибека, из Н. Казанища, Гасан, сын Ибрагима, из Н. Казанища, Джалалутдин из Тарков, Джамалутдин-хаджи из Карабудахкента, Закария, сын Тахира, из Аксая, Ибрагим, сын Магомеда, из Эндирея, Ильяс из Эндирея, Ильяс-хаджи, сын Махмуда, из Цудахара, Магомед Казанбиев из Хамамагюрта, Магомед, сын Гасана, из Акташа, Магомед, сын Дибера, из Караха, Манап-молла из Эндирея, Наджмутдин, сын Гайдар-бска, из Н. Казанища, Нухай и Зайналабит Батырмурзаевы из Аксая, Хаджи-Акайым, сын Газанбия, из Дженгутая, Шихаммат-кади, сын Байболата, из Эрпели и др. Последний и Абусуфьян Акаев из Н. Казанища издали значительную часть опубликованных до Октябрьской революции арабописьменных кумыкских книг — более 50. Всего же за период 1903—1917 гг. вышло в свет около

150 книг на кумыкском языке [4; 5], главным образом в г. Темир-Хан-Шуре, а также в Петровске, Хасавюрте, Баку, Казани, Симферополе, Бахчисарае. Первая поэтическая антология кумыков [7. С. 34; 8. С. 106—174] была издана еще в 1883 г. в С.-Петербурге также арабской графикой.

Что касается содержания кумыкских книг местных дореволюционных авторов, то, наряду с духовно-религиозными сочинениями, среди них было довольно много учебников, учебных пособий, дву- и многоязычных словарей, различных календарей, произведений художественной литературы и фольклора, трудов дагестанских ученых по истории, астрономии, филологии, медицине и т. д. [4. С. 40]. Были опубликованы переводы и литературные переработки таких известных на мусульманском Востоке произведений, как «Лейли и Меджнун», «Тахир и Зухра», «Бозйигит», «Книга о Малике», «Шах-Маран», «Хатаму Таи», «Кыссаи Марйам аз-Зуннарийа», «Илму ахлак», «Касыдат ал-бурда», «Кыссаи Йусуф» (в прозе и стихами), «Латаиф Молла Насреддин», «Ал-фийа», «Таъбир-наме», сказки из цикла «Тысяча и одна ночь», а также оригинальные сочинения кумыкских авторов: «Дауд и Лайла», «Харун и Зубайда» Н. Батырмурзаева и др.

Особый интерес для языковедов представляют лексикографические и грамматические работы, изданные тогда же в Дагестане. Так, известный кумыкский просветитель и ученый-филолог А. Акаев подготовил четырехязычный (арабско-кумыкско-аварско-русский) словарь «Суллай ли-лисан» («Лестница языков»), содержащий ок. 900 слов и 150 словосочетаний, который был им впервые издан в Темир-Хан-Шуре в 1908 г. и повторно (с дополнением 160-ти слов) — в 1915 г. В дальнейшем этот словарь А. Акаева стал пятиязычным и выходил в 1909, 1910, 1914 и 1915 гг. под названием «Хамсат алсинат». В 1911 г. словарь был опубликован в шестиязычном варианте под названием «Ситтат алсинат». В советское время в 1926 г. в Буйнакске был издан семиязычный словарь «Саб'ат алсинат», который включал в себя еще чеченский, лакский и даргинский словники [9. С. 147, 179, 180, 184]. Лексика всех языков, в том числе русского, передана арабской графикой.

Все перечисленные словари содержали и кумыкский материал. Такого рода многоязычные словники «карманного» типа пользовались в Дагестане популярностью.

Достойна внимания и другая лексикографическая работа А. Акаева — «Ал-хидмат ул-машкурат фи-л-лугат ил-машхурат», изданная в 1925 г. в г. Буйнакске (объем 200 с.) [9. С. 146; 10. С. 21] и представляющая собой толково-переводной словарь иноязычной для кумыков лексики. Словарь содержит переводы или объяснения 14 тыс. слов, встречающихся в текстах азербайджанских, казанско-татарских, турецких газет и журналов.

Интересны с точки зрения изучения языка XIX в. кумыкские переводы двух Евангелий — от Матвея и от Марка. Оба они были изданы в двух книгах в г. Лейпциге в 1897 г. (арбским шрифтом; первый содержал 156, второй — 100 с.) [11].

В последние годы обнаружены рукописи некоторых произведений, созданных в начале XX в. Это роман А.-Г. Ибрагимова «Аманхор» [13] (1915), историческое сочинение «Тарихи Кызларкала» [14. С. 35—36; 15. Оп. 1, д. 585, инв. № 7551] (1915—1916) и другие произведения [16. С. 6—16] того же автора; историческая поэма А. С. Карамурзаева «Сведения о ходе мировой войны» [17. С. 39; 18] (1914—1922), состоящая из 670 четверостиший; кумыкские переводы известных чогайских преданий о хане Тохтамыше, Адильсултане Крымском, Мирзе-Мамае [20.

С. 38; 21]; перевод с арабского языка широко известного на мусульманском Востоке арабского классического произведения «Касыдат ал-бурда» ал-Бусири (перевел его А. Арсланмурзаев в конце XIX в.) [22]. В языковедческом плане небезынтересно сопоставление лексики этого перевода и перевода этой же касыды, выполненного А. Акаевым [24].

Среди находок последних лет следующие рукописи: арабско-кумыкско-русский трехязычный словарь [25], переписанный в 1928 г. (90 с.); рукописная книга по мусульманскому наследственному праву [26. № 2412] (переписана в 1924 г.—17 с.); краткая грамматика (морфология) арабского языка [26. № 2414] (начало XX в.—26 с.); текст небольшого исторического сочинения «Тарихи Эндирей» Адильгерей Исмаилова (XIX в.) [27]; сборники кумыкского фольклора, собранного Билалом Алибековым [29] из Н. Казанища в 30-х годах XX в. (107 с.), Ярашем Сотавовым из Эндирей и Атаем Атавовым [30] из Бабаюрта в середине XX в., Арсланбеком Хадуловым [32] из Батаюрта в 30-х годах XX в. (48 с.); историческое сочинение «Тарихи Карабудахкент» Джамалутдина из Карабудахкента на арабском языке и в кумыкском переводе (начало XX в.).

В фонде восточных рукописей Института ИЯЛ Дагестанского филиала АН СССР (далее: РФ ИИЯЛ) имеются и другие арабографические рукописи, в том числе словари и справочники по восточной медицине. Так, недавно приобретен уникальный манускрипт — самая крупная из известных кумыкских рукописей. Это первая часть перевода широкоизвестного труда арабского ученого Ибн Байтара (ум. 1248) «Джами ал-муфрадат» [26. № 2627] (ок. 400 л.—по 21 стр. на каждой странице; размер 33,5×22 см). Имена переводчика и переписчика в рукописи не указаны; по палеографическим признакам ее можно датировать первой третью XIX в.

Тексты переводов другого медицинского сочинения — «Лукман ал-хаким» (в разных вариантах) — имеются в РФ ИИЯЛ, а также в частных коллекциях [26. № 494, 2372; 33]. Обе рукописи — II пол. XIX в. Обнаружены две небольшие рукописи, посвященные народной медицине: «Дарманлар» («Лекарства») — 22 л. и «Эсги кьумукъ дарманлар» («Старинные кумыкские снадобья») — начало XX в. [34]. В них зафиксирована старая медицинская, ботаническая, зоономическая и этнографическая терминология.

В Институте рукописей АН Азербайджанской ССР имеется несколько кумыкских рукописей: «Кысас ул-анбийа» (184 с.), 18×25 см. [35. С. 66]; арабско-персидско-кумыкский сборник, составленный Магомедом-эфенди Османи, 1901 г. (73 л.); «Тарихи мукадас» (конец XVII—начало XVIII в. — ок. 200 л.); «Накшибанди тарикатны тарихи» («История накшбендийского ордена») [36. С. 76—78]. Исследователь-филолог З. Акавов сообщает об обнаруженной им части рукописи Крымхан-моллы, в которой содержится толкование положений шариата (1874) [37. С. 70].

Недавно нами обнаружены еще две сборные рукописи, переписанные А. Карамурзаевым из Аксяя в 1896—1899 гг. В первой содержатся две поэмы («Миъраж» и «Насихат») А. Арсланмурзаева, стихи Муса-моллы, Абдурахмана Какашуринского и Абдулкарима [38] (64 с.). Во втором сборнике (84 с.) содержатся «Таъбир-наме», памятные записи кумыкские исторические и религиозные песни (авторы — Хаджи Шамугдин, Акай-молла, Хамзат, Абдурашид, Муса, Йырчы Казак и др.) [39].

Довольно интересная сборная рукопись [40] зафиксирована в 1986 г. в библиотеке мечети г. Буйнакска. Она составлена в 1879—1891 гг. и

содержит тексты на разных языках. Среди кумыкских материалов — старинные казак-йыры, стихи Йырчы Казака, Абдурахмана Какашуринского, Мусалава.

В Дагестане часто встречаются тексты стихов классика кумыкской поэзии Йырчы Казака (1830—1879), помещенные как в сборниках, так и в отдельных рукописях. В личной библиотеке М. Исмаилова из с. Гелли В. Загирев обнаружил поэтический сборник Йырчы Казака, составленный в 1310 (1892) г. Акай-кадием из Н. Казанища (43 с.) [41. С. 77; 42. С. 3—4; 43]. Другая рукопись, составленная в 90-х годах XIX в. (160 л.), представляет собой антологию поэзии на языке «тюрки» кумыкских авторов XVII—XIX вв. [44]. Несколько кумыкских поэтических сборников (20-е годы) имеется в научном архиве ИИЯЛ [45—47].

В личной коллекции А. К. Абдурахманова из с. Н. Дженгутай хранятся рукописи, в том числе «Сыналгъан сырлы сёзлер» — сборник пословиц и поговорок (52 с.), составленный А. Казиевым в 30-х годах [48. С. 111]; дастан о Сулейман-Хаджи-шейхе из Анши в записи А. Казиева (19 л.), рукопись «Шамилли йырлары» («Песни Шамиля») в той же записи; часть известного восточного дастана «Аслы ва Карам» («Асли и Керем») в переводе Абдулхалима из Н. Дженгутая — начало XX в. [49. С. 71—73]. В личной коллекции А. Гаджиева из г. Хасавюрта есть рукопись «Къурандагъы сураланы маъналары» (переводы некоторых сур из Корана) — 28 с.

В РФ ИИЯЛ имеется текст из 31 л. по фикху — кумыкский перевод турецкого сочинения Мухаммеда бен Пир-Али (род. 929/1523) «Васийят-наме» (1280/1863) [26. № 1595. Л. 3—34]. Между строк и на полях сборной рукописи, куда входит названный текст, довольно много глосс и примечаний на кумыкском языке.

Историческое сочинение «Дербенд-наме», автором которого был, по мнению В. В. Бартольда [50. С. 469—480], житель кумыкского аула Эндирей Мухаммад Аваби Акташи, известно в переводах на многих языках мира. Несколько рукописей «Дербенд-наме» хранится в РФ ИИЯЛ, и среди них анонимный список 1312/1895 г. (21 л.) [15. Оп. 1, д. 425, инв. № 1666; 51], список М. Инкачилау 1930 г. (19 л.) [15. Оп. 1, д. 425, инв. № 1666]. Последний составлен на старокумыкском письменном языке (т. е. на кумыкском варианте северокавказского тюрки): скопирован с оригинала, написанного в 1285/1868 г. Другой перевод осуществлен в 1308/1891 г. Магомедом Нажмутдином, сыном Гаджи, из с. Тарки [52].

В личной коллекции дагестанского востоковеда М.-С. Саидова имеется довольно объемистая рукописная книга по фикху, составленная на арабском языке и параллельно переведенная на кумыкский [53] в 1252/1836—1837 г. Абдуллой, сыном Хаджи, из Аскента. Интерес для языковедов могут представить также сборник стихотворений кумыкской поэтессы начала XX в. Патимат Гусейновой из Н. Казанища и ряд других ее произведений [54. С. 36].

В двух грамматических работах середины XIX в. по кумыкскому языку — Т. Макарова и И. Адамова [55—57] — в качестве иллюстрации приведены кумыкские тексты. По нашим подсчетам, Т. Макаровым зафиксировано ок. 700 кумыкских слов. Грамматика этого автора стала широко известна тюркологам благодаря статье А. Н. Косонова [58. С. 48—50; 59. С. 72—73]. До сих пор не изучено тюркологическое исследование И. Адамова «Этимологический очерк кавказского диалекта тюркского языка» (1851), представляющее собой первую часть сравнительной грамматики кумыкского и ногайского языков.

Кумыкская лексика начала XIX в., приведенная в труде Ю. Клапрота «Кавказские языки», издана латинским и арабским шрифтами

[60. С. 271—288]. Ю. Клапрот приводит слова и выражения как устной, так и письменной речи (*Gesprochene Sprache*, *Geschriebene Sprache*). Довольно четко различает письменный и разговорный языки кумыков и Т. Макаров в своей грамматике 1848 г. Язык, который мы называем кумыкским вариантом северокавказского тюрки [61], у Ю. Клапрота и Т. Макарова проходит как «кумыкский письменный язык».

Язык памятников дипломатической переписки, в частности грамот, направленных кумыкскими владельцами русским царям в XVII в., некоторые исследователи — историки и востоковеды (М. А. Полиевктов [62. С. 754], М.-С. Саидов [63. С. 132], С. Ш. Гаджиева [64. С. 55], А. А. Исаев и др.) обозначают как «кумыкский». В работах других исследователей употреблен традиционный термин — «чагатайский» [37. С. 70] или «джагатай тюрки» [65. С. 12; 66. С. 775].

Период бытования «северокавказского тюрки» — один из наиболее важных этапов в развитии письменной культуры и языка кумыков. Этот письменный язык, очевидно, отпочковался от общетюркского литературного языка в виде ветви золотоордынской письменной традиции примерно в XVI в. Однако в настоящее время еще рано утверждать что-либо определенное о предшественнике этого языка, его генезисе и истории развития. Исследование тюркоязычных материалов Северного Кавказа и Дагестана периода средневековья, по существу, только началось.

Материалы на кумыкском варианте языка тюрки представлены разнообразными жанрами. Так, известны нарративные исторические сочинения («Дербенд-наме», «Тарих Дагестан» и др.); художественная литература: проза (тексты конфессионального содержания и по мусульманской юриспруденции, «Кысас ул-анбийа», «Тарихи мукаддас» и др.) и поэзия («Анжи-наме» [67. С. 22—30; 68. С. 95—103; 69], «Кыссаи Йусуф», поэмы и стихи разных авторов: Абдуллы, Абдулкерима, Абдурахмана Какашуринского, Абдурашита — сына Арсланмурзы, Абубакара, Абусуфьяна — сына Акая, Акай-Гаджи, Аксака, Алисолтана, Аманхора, Багдат-Али, Гаджи, Гамзат-Ильяса, Гасан-огли, Дербеш-огли, Ибрагима — сына Казак-мирзы, Ибрагим-Халила, Казакая, Мамы, Муса-моллы, Саида, Сулеймана, Умара, Умму Камала, Халимата, Шейх-Али-оглы и других); актовый материал («Алходжакентский свиток» [70. С. 8] и др.); краткие памятные записи; частная и официальная переписка (документы, хранящиеся в Центральном госархиве древних актов, в Архиве внешней политики МИД СССР, в Военно-историческом архиве, в Центральном госархиве Дагестанской АССР). В количественном отношении превалируют памятники частной деловой и официальной переписки XVIII в., а также поэтические произведения. Особенно богат документами эпистолярного жанра (более 3000) бывший архив кизлярского коменданта, входящий ныне в состав ЦГА ДАССР (г. Махачкала); к настоящему времени опубликовано всего несколько тюркоязычных документов [71. С. 178—179; 72. С. 66, 69; 73].

Образцы дагестанской поэзии на языке тюрки, изданные литографским способом в начале XX в. [74; 75], являются ценным источником для изучения истории развития кумыкского письменного языка периода позднего средневековья.

#### П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> Кононов А. Н. История изучения тюркских языков в России: Дооктябрьский период. 2-е изд. Л., 1982.

- <sup>2</sup> Дмитриев Н. К. Материалы по истории кумыкского языка // Языки Северного Кавказа и Дагестана. М.; Л., 1949. Вып. 2.
- <sup>3</sup> Библиографический словарь отечественных тюркологов: Дооктябрьский период. М., 1974.
- <sup>4</sup> Исаев А. А. Печатная книга на языках народов Дагестана: (конец XIX—начало XX в.) // Материалы сессии, посвящ. итогам экспедицион. исслед. Ин-та ИЯЛ в 1980—1981 гг. Махачкала, 1982.
- <sup>5</sup> Каталог книг и текстов, опубликованных до 1917 г., составлен А. А. Исаевым (см.: [6. Оп. 1, д. 424, инв. № 7915]).
- <sup>6</sup> РФ ИИЯЛ. Ф. 3.
- <sup>7</sup> Акбиев С. От рукописной книги к печатной. Махачкала, 1982. На кумык. яз.
- <sup>8</sup> Османов М. Ногайские и кумыкские тексты. Спб., 1883. На кумык. яз.
- <sup>9</sup> См.: Словари, изданные в СССР: Библиогр. указ. 1918—1962. М., 1966.
- <sup>10</sup> Чобан-заде В. Заметки о языке и словесности кумыков. Баку, 1926. На азерб. яз.
- <sup>11</sup> Экземпляры обоих переводов Евангелия находятся в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Имеется также сообщение о том, что кумыкский перевод Евангелия был издан еще в 1810 г. христианами миссионерами, действовавшими на Северном Кавказе в Каралы — близ Бештау. Ими изданы и другие книги на кумыкском языке [12. С. 70]. Типография находилась в Каррасе, на территории Кабарды.
- <sup>12</sup> Алиев К. На французском языке о кумыках // Лит. Дагестан. 1987. № 1 — со ссылкой на кн.: Энциклопедия ислама. Париж, 1981.
- <sup>13</sup> Опубликован С. Алиевым дважды: в 1964—1965 и 1976 гг. в Махачкале.
- <sup>14</sup> Оразаев Г. М.-Р. «Тарихи Кизляркала» — интересный памятник местной историографии Дагестана // Тез. докл. науч. сессии, посвящ. итогам экспедицион. исслед. Ин-та ИЯЛ в 1982—1983 гг. Махачкала, 1984.
- <sup>15</sup> РФ ИИЯЛ. Ф. 1.
- <sup>16</sup> Алиев С. «Аманхор» и его автор // Ибрагимов-Кизлярский А.-Г. Аманхор. Махачкала; 1976. На кумык. яз.
- <sup>17</sup> Оразаев Г. М.-Р. Нововыявленные тюркоязычные материалы // Материалы сессии, посвящ. итогам экспедицион. исслед. Ин-та ИЯЛ в 1980—1981 гг. Махачкала, 1982.
- <sup>18</sup> Кумыкский текст поэмы в современной транслитерации см. в [19. Оп. 1, д. 255. инв. № 8507].
- <sup>19</sup> РФ ИИЯЛ. Ф. 8.
- <sup>20</sup> Оразаев Г. М.-Р. К истории ногайско-кумыкских взаимосвязей // Тез. докл. науч. сессии, посвящ. итогам экспедицион. исслед. Ин-та ИЯЛ в 1984—1985 гг. Махачкала, 1986.
- <sup>21</sup> Полевые дневники автора за 1985 и 1986 гг.
- <sup>22</sup> Фотокопию рукописи А. Карамурзаева, в которой имеется текст касыды, см. в [23. Оп. 1, д. 231, инв. № 8162].
- <sup>23</sup> РФ ИИЯЛ. Ф. 6.
- <sup>24</sup> А. Акаев издал арабский текст касыды с параллельным кумыкским переводом под названием «Аминтазаны таржумасы» в 1905 и 1910 гг. Кумыкские тексты переводов А. Акаева и А. Арсланмурзаева в русской транслитерации см. в [19. Оп. 1, д. 254].
- <sup>25</sup> Ныне хранится в РФ ИИЯЛ [26. Инв. № 2413].
- <sup>26</sup> РФ ИИЯЛ. Ф. 14.
- <sup>27</sup> Фотокопию рукописи, в которой имеется текст «Тарихи Эндирей», см. в [28. Оп. 2, инв. № 57].
- <sup>28</sup> РФ ИИЯЛ. Ф. 30.
- <sup>29</sup> Соколенок. Махачкала. 1986. № 5, 7; 1988. № 4. На кумык. яз.
- <sup>30</sup> Записи кумыкского фольклора и стихов из рукописей. Я. Сотавова и А. Атавова см. в [31. Оп. 1, д. 423, инв. № 7573].
- <sup>31</sup> РФ ИИЯЛ. Ф. 9.
- <sup>32</sup> Рукопись А. Хадулова хранится в [26. Инв. № 2601].
- <sup>33</sup> У Р. Нурудинова из с. Апиши имеется рукопись «Лукман ал-хаким» (18 л.) на кумыкском языке, переписанная в 1266/1849—1850 г.
- <sup>34</sup> Нами сняты копии с текстов обеих рукописей.
- <sup>35</sup> Элжазмалары каталогу. Баку, 1963. Т. 1. На азерб. яз.
- <sup>36</sup> Акавов З. Кто ищет, находит // Дружба. 1977. № 1. На кумык. яз.
- <sup>37</sup> Он же. Страница древней книги // Сов. Дагестан. 1972. № 1.
- <sup>38</sup> Фотокопию названной рукописи А. Карамурзаева см. в [23. Оп. 1, д. 230. инв. № 8161].
- <sup>39</sup> Нами копия с текстов этого сборника снята в 1986 г.
- <sup>40</sup> Микрофильм кумыкских и ногайских текстов из этой рукописи см. в [23. Оп. 2, д. 164, инв. № 8262].
- <sup>41</sup> Дружба. 1957. № 1. На кумык. яз.
- <sup>42</sup> Ирчи Казак. Сборник песен. Махачкала, 1957. На кумык. яз.
- <sup>43</sup> В нашем распоряжении имеется фотокопия рукописи.

- <sup>44</sup> Ксерокопию рукописи см. в [28. Оп. 2, № 62].
- <sup>45</sup> *Девлетмурзаев Г.* Кумыкские исторические песни (60 л.) [31. Оп. 1, д. 122, инв. № 223].
- <sup>46</sup> *Пахливанов Н.* Стихи (16 л.) [19. Оп. 1, д. 15, инв. № 142].
- <sup>47</sup> *Алибеков Г.* Стихи (56 л.) [19. Оп. 1, д. 17, инв. № 244].
- <sup>48</sup> *Казиев А.* По стезе учености//Дружба. 1976. № 3. На кумык. яз.
- <sup>49</sup> *Абдурахманов А.* По следам Маралханым//Лит. Дагестан. 1988. № 5. На кумык. яз.
- <sup>50</sup> *Бартольд В. В.* К вопросу о происхождении «Дербенд-наме»//Сочинения. М., 1973. Т. 8.
- <sup>51</sup> Текст в транслитерации см. в [19. Оп. 1, д. 248, инв. № 7070].
- <sup>52</sup> Оригинал хранится у Гебека из Доргели, который проживает в с. Кяхулай. (Упом.: [7. С. 19]).
- <sup>53</sup> РФ ИИЯЛ. Ф. 29. Коллекция М.-С. Саидова.
- <sup>54</sup> *Оразаев Г. М.-Р.* Новые письменные материалы на тюркских языках, обнаруженные в 1979—1985 гг.//Изучение истории и культуры Дагестана: Археографический аспект. Махачкала, 1988.
- <sup>55</sup> *Макаров Т.* Татарская грамматика кавказского наречия. Тифлис, 1848.
- <sup>56</sup> *Адамов И.* Этимологический очерк кавказского диалекта тюркского языка. Казань, 1851 (рукоп.—59 л.)//Науч. б-ка Казан. ун-та им. В. И. Ульянова-Ленина, № 6023.
- <sup>57</sup> Кумыкские тексты с рукописи И. Адамова скопированы нами в 1982 г. См.: [15. Оп. 1, д. 591, инв. № 7552, л. 37—39].
- <sup>58</sup> *Кононов А. Н.* Из истории кумыкского языкознания//Св. тюркология. 1982. № 1.
- <sup>59</sup> *Алиев С., Акбиев С.* Первая печатная грамматика кумыкского языка//Сов. Дагестан. 1975. № 1.
- <sup>60</sup> *Kaukasische Sprachen: Anhang zur Reise in den Kaukasus und nach Georgien von Julius von Klaproth.* Halle; Berlin, 1814.
- <sup>61</sup> *Оразаев Г. М.-Р.* «Северокавказский тюрк» в системе тюркских региональных письменных языков XVI—XIX веков//Историко-культурные контакты народов алтайской языковой общности. М., 1986. Т. 2.
- <sup>62</sup> *Полиевтков М. А.* Из переписки северно-кавказских феодалов XVII века//Академия наук СССР: 45 лет академику Н. Я. Марру. М.; Л., 1935.
- <sup>63</sup> *Саидов М.-С.* Из истории возникновения письменности у народов Дагестана//Языки Дагестана. Махачкала, 1976. Вып. 3.
- <sup>64</sup> *Гаджиева С. Ш.* Кумыки. М., 1961.
- <sup>65</sup> *Алкадари Г.-Э.* Китаби Асари Дагестан. Баку, 1903. На азерб. яз.
- <sup>66</sup> *Бартольд В. В.* Краткий обзор истории Азербайджана//Сочинения. М., 1963. Т. 2, ч. I.
- <sup>67</sup> Хрестоматия по дореволюционной кумыкской литературе. Махачкала, 1980. На кумык. яз.
- <sup>68</sup> *Алиев С.* Путешествие в историю кумыкской литературы//Дружба. 1974. № 3. На кумык. яз.
- <sup>69</sup> Рукопись «Анжи-наме» создана в 1780 г. Кадимурзой из Амирханкента; обнаружена С. Алиевым.
- <sup>70</sup> *Акбиев С. Х.* Зарождение и развитие кумыкской старописьменной художественной книги: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Махачкала, 1973.
- <sup>71</sup> *Оразаев Г. М.-Р.* Архитектоника тюркоязычных писем XVIII в., адресованных кизлярскому коменданту//Тюркско-дагестанские языковые взаимоотношения. Махачкала, 1985.
- <sup>72</sup> *Он же.* Из истории даргинско-тюркских контактов (по материалам XVIII в.)//Тюркско-дагестанские языковые контакты. Махачкала, 1982.
- <sup>73</sup> Более полусотни текстов XVIII в. в русской транскрипции имеется в РФ ИИЯЛ [6. Оп. 1, д. 453, инв. № 8240, л. 380—455].
- <sup>74</sup> *Маджму' ул-манзумат ал-'аджамийат/Сост. Абусуфьян, сын Акая, из Нижнего Казанища. Симферополь, 1903 (переиздана в г. Темир-Хан-Шуре в 1907 и 1914 гг.).*
- <sup>75</sup> *Абдурахманни тюркклери/Сост. Шихаммат-кади, сын Байболата, из Эрпели. Темир-Хан-Шура, 1909.*

## НАСЛЕДИЕ

### ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ НАСИЛОВ

Владимир Михайлович Насилов (1893—1970) получил востоковедческую подготовку в Лазаревском институте (1913—1917). В науку он пришел как практик: первые годы его трудовой деятельности были непосредственным образом связаны с социалистическим строительством в Средней Азии. Здесь начинаются его занятия живыми тюркскими языками, результатом которых и стала предлагаемая ныне вниманию читателей статья о производственной терминологии в узбекском и таджикском языках. Сотрудничество с Научно-исследовательским институтом народов Востока (до 1929 г. внештатное) расширило возможности и рамки этих занятий, — В. М. Насилов участвует в лингвистических и лингво-этнографических экспедициях в различные районы Средней Азии, продолжает знакомство с тюркскими языками в их живом функционировании, ведет активный сбор материалов по лексике и грамматике узбекского и уйгурского языков.

С начала 30-х гг. в центре внимания В. М. Насилова — современный уйгурский язык. В 1930 г. он начинает преподавать уйгурский язык в Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ). В том же году он участвует в организации кафедры уйгурского языка в Московском институте востоковедения (МИВ), которой руководит многие годы (с 1954 г., после того как МИВ вошел в состав Московского института международных отношений, В. М. Насилов руководит кафедрой турецкого, уйгурского, монгольского и венгерского языков этого института).

В жизни В. М. Насилова труд педагога и труд исследователя были тесно переплетены, нерасторжимы. С преподавательской деятельностью в КУТВ и МИВ связаны первые публикации В. М. Насилова по уйгурскому языку. В 1933 г. издательством МИВ был выпущен в свет «Учебник уйгурского языка» В. М. Насилова (он переиздавался в 1935, 1940, 1943 гг.). В 1936 г. выходит из печати «Уйгурско-русский словарь», составленный В. М. Насиловым в соавторстве с Н. А. Баскаковым. И, наконец, в 1940 г. увидела свет составленная В. М. Насиловым «Грамматика уйгурского языка».

С 1943 г., с момента создания на филологическом факультете МГУ восточного

отделения, В. М. Насилов ведет ряд курсов и в университете. В значительной мере преподавательская работа в МГУ привела его к занятиям древними языками; результаты этих занятий были обобщены им в серии очерков, последний из которых увидел свет уже после кончины его автора: «Язык орхоно-енисейских памятников». М., 1960; «Древнеуйгурский язык». М., 1963; «Язык средневековых тюркских памятников уйгурского письма». М., 1972. Эти книги, развивая и дополняя друг друга, свидетельствуют об историзме научного мышления В. М. Насилова. В них нашли свое отражение фундаментальные положения касательно развития грамматического строя тюркских языков, выведенные В. М. Насиловым на основе изучения девятивековой истории этих языков. В плане истории тюркских литературных языков важно отметить, что ученый прослеживает преемственность средневековых литературных языков Центральной и Средней Азии.

Разносторонняя и глубокая востоковедческая подготовка, полученная В. М. Насиловым в Лазаревском институте, где его учителями были такие выдающиеся ученые, как Ф. Е. Корзи, В. А. Гордлевский, А. Е. Крымский, работа на филологическом факультете МГУ, центре филологической науки Советского Союза, в сотрудничестве с крупнейшим тюркологом-теоретиком Н. К. Дмитриевым (после кончины которого в 1954 г. В. М. Насилов принял кафедру тюркской филологии на восточном отделении филологического факультета МГУ) не могли не направить его интересы в область теории тюркологии, на разработку узловых и дискуссионных проблем тюркской грамматики.

Результаты теоретических исследований В. М. Насиловым конкретных вопросов грамматики изложены им в ряде проблемных статей, опубликованных в Трудях МИВ и сборниках, мало доступных современному читателю. Здесь прежде всего следует упомянуть статьи: «Роль сказуемого в уйгурском языке» (Тр./МИВ. 1939. Сб. № 1), «Типологические черты уйгурского языка» (Тр./МИВ. 1946. Сб. № 3), «К вопросу о грамматической категории вида» (Тр./МИВ. 1947. Сб. № 4), «Имена в уйгурском языке» (сб. «Вопросы языка и литературы стран Востока». М.,

1958), «Аффиксы включения» (там же), «Глагольные имена и их развитие в тюркских языках» (сб. «Вопросы тюркской филологии». М., 1966). Хотелось бы отметить и вклад ученого в исследование становления частей речи в тюркских языках. Ему удалось раскрыть процесс постепенной морфологизации субстантивно-адъективных категорий в рамках именных частей речи. В. М. Насилов указывал на историческую роль синтаксиса в разграничении частей речи и закреплении их морфологических характеристик. Особое внимание исследователя привлекали грамматические категории глагола, формы выражения предикативности именными и глагольными категориями. Тонко описаны им глагольные имена, убедительно показан комплексный характер их грамматической семантики (переплетение в них граммати-

ческих свойств субстантива, адъектива и глагола).

Много ценных наблюдений и идей содержится в синтаксических работах В. М. Насилова, но, к сожалению, целостного описания синтаксической структуры тюркских языков В. М. Насилов осуществить не успел. По мнению Э. Р. Тенишева, статья В. М. Насилова «Типологические черты уйгурского языка» содержит все необходимое для большой фундаментальной работы по синтаксису уйгурского языка (Советская тюркология. 1983. № 4).

Прошедшие со времени опубликования работ В. М. Насилова годы показали, что рассмотренные их автором вопросы не утратили своей актуальности, а решения, предлагавшиеся В. М. Насиловым, во многом представляют интерес и сегодня.

*Г. Ф. Благова, Е. А. Поцелуевский*

## ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция журнала «Советская тюркология» продолжает публикацию работ из наследия известных советских тюркологов. Журнал вновь обращается к научному творчеству видного советского ученого, заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора Владимира Михайловича Насилова, внесшего весомый вклад в описание живых тюркских языков (первая в России грамматика и первый словарь уйгурского языка, словарь — в соавторстве с Н. А. Баскаковым) и языка тюркских письменных памятников (публикации в серии «Языки народов Азии и Африки», посвященные

языку орхоно-енисейских памятников, средневековых памятников уйгурского письма, памятников древнеуйгурского языка. В № 3 за 1985 г. на страницах журнала была перепечатана теоретическая работа В. М. Насилова «Аффиксы включения». Сейчас вниманию читателей предлагается одна из ранних статей автора, представляющая другую грань его творчества. Это конкретное исследование с выходом в практику, собственно и продиктованное нуждами преподавания и организации производства. К печати статью подготовила Р. Ф. Тарасенко.

\* \* \*

Статья Владимира Михайловича Насилова «Наблюдения над образованием производственных терминов узбекского и таджикского языков в условиях фабричной техники», опубликованная на страницах журнала «Культура и письменность Востока» (М., 1931. Кн. 9, с. 38—50), не потеряла своей научной ценности и важна для изучения истории становления терминологии в узбекском и таджикском языках.

Сама идея ее написания возникла из чисто практических нужд. С 1924 г. В. М. Насилов преподавал узбекский и таджикский языки в ФЗУ при Зарайской текстильной фабрике, где готовились текстильщики-инструкторы со знанием этих национальных языков для оказания помощи в налаживании производства на вновь создаваемых текстильных фабриках Узбекской и Таджикской республик. В. М. Насилов неоднократно выезжал на текстильные фабрики Узбекистана и Таджикистана, где наблюдал за процессом создания терминов самими носителями языков, и практически описал все ныне научно исследованные

способы создания терминов: а) использование существующих (издревле сложившихся в народном быту) слов и терминов, б) использование лексики родного языка и ее переосмысление, в) семантическое калькирование, г) описательный прием, д) заимствование иноязычной терминологии. Актуальным остается предложение В. М. Насилова о «постановке эксперимента по рационализации терминов на определенном методологическом фундаменте ... при ближайшем участии научных сил из среды лингвистов и технических специалистов» и с обсуждением выработанных терминов в трудовых коллективах того или иного производства.

В тексте статьи латинизированный алфавит, использовавшийся для узбекского и таджикского языков в те годы, приведен в соответствие с транскрипцией, принятой в журнале «Советская тюркология». Сносками под знаком астериска поясняются сокращения, общераспространенные в эпоху написания статьи.

*Р. Ф. Тарасенко*

В. М. НАСИЛОВ

### НАБЛЮДЕНИЯ НАД ОБРАЗОВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРМИНОВ УЗБЕКСКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ В УСЛОВИЯХ ФАБРИЧНОЙ ТЕХНИКИ [1]

Исходным мотивом настоящей работы [2] был интерес обследовать язык таджиков и узбеков, находящихся в фабричных условиях текстильного производства, и посмотреть, как производственный язык, образовавшийся в национальной среде, приспосаблиется к условиям фабрично-заводской, очень сложной и богатой механизмами техники.

С другой стороны, зная, какую ценность представляет возбуждение интереса рабочих к приспособлению своего языка к процессам работы и механизмам заводской техники, мы старались поставить перед рабочими, таджиками и узбеками, ряд вех к сознательному использованию своих языков в условиях современного строительства в Узбекистане и Таджикистане.

Поле наблюдения за формациями производственного языка были фабрично-заводские условия больших текстильных предприятий и среда кустарных производств некоторых пунктов Узбекистана и Таджикистана. Мы, не вдаваясь в фонетический анализ словарного материала, интересовались главным образом отношением слов, функционирующих в фабрично-заводской среде, к содержанию их, родившемуся в национальной среде, и хотели проследить слово *in statu nascendi*, в процессе зарождения, где это возможно, а также рассмотреть влияние русской (и частично западно-европейской) терминологической среды на языки узбекский и таджикский. Исследование фонетических формаций представляет собою особую интересную работу, которую мы ставим в особое русло, занимаясь здесь лишь теми моментами, которые могут сыграть роль непосредственно в применении к прикладной лингвистике в условиях социалистической индустриализации нацреспублик. Что же касается фонетической стороны наблюдаемого материала, то звуковые оттенки произношения как узбеков, так и таджиков столь богаты и разнообразны, что дать их в рамках существующих графем унифицированного нового алфавита невозможно; для этого пришлось бы пользоваться утонченными обозначениями, например, аналитического алфавита. Поэтому, выделяя основные фонемы и не делая подробного звукового анализа вариантов, мы ограничиваемся латинизированными алфавитами обонх языков.

В фабрично-заводских условиях текстильного производства рабочих, таджик и узбек, стоят перед очень сложным и очень детализированным механизмом любой машины прядильного и ткацкого типа. Обстановка все время ему аккомпанирует русскими, немецкими и англий-

скими терминами. Эта обстановка высокой производственной культуры захватывает рабочего-национала. Чтобы понять и усвоить механизм и его функции, вначале требуется достаточное напряжение, которое подтягивает к сознанию какие-то принципиальные, четко построенные на зрительном и мускульном опыте представления из среды родного кустарного производственного быта. Это целый сложный процесс выработки новых условных рефлексов и целая диалектика прогрессирующих час от часу, день ото дня новых понятий.

Не раз удавалось проследить формирующую мысль рабочего-национала относительно той или иной части машины по двум главным направлениям. С одной стороны, это подыскивание точного названия (термина), если рабочий знаком с деталями кустарного производства и механизмами кустарных машин в родных местах, или названия по аналогии с имеющимися в обиходе предметами, например, *gürçäk* 'втулка (втулка колеса арбы)', *münçäk* 'колечко ожерелья' для обозначения шайбы или прокладочного фибрового кольца и т. д. С другой стороны, если знакомство с производственной обстановкой скудно, рабочий употребляет описательный прием, передающий обязательно главную функцию определенной детали, например, *mokkūnni fūrädürgän jayaçu-puñ jürädürgän jayaçu* (узб.) 'дерево, подгоняющее дерево, подгоняющее челнок', тогда как знакомый с кустарным механизмом назовет его просто *däväk* 'гонок'. В другом примере: *asylyb turadurğan čojan* (узб.) слово *čojan* (узб.) не просто «чугун», оттягивающий валики ватерной машины, как называет один из узбеков по наличию участвующего в машине материала, но *sāñ päsāñ* (узб.), т. е. «камень-груз»; так его называет большинство по аналогии с настоящим камнем, выполняющим функцию груза в ткацком кустарном станке; здесь значение таджикского слова *sañ* 'камень' подлинно трансформировалось в значение «груз». Приводим примеры, в которых можно видеть соединение точного термина с названием функции обозначаемого объекта: *tanopi harakat mikardagi* (тадж.) 'приводной шнур', *čarxi dandonaš pulat(d) raxtāgo megardondagi* 'зубчатый барабан' или *rāxtāni qajtygub turadurğan čārx* 'барабан, переворачивающий хлопок' (т. е. то же на узбекском языке). Таджики довольно сложным выражением стремился отметить особенность барабана («зубчатый») и его функцию, тогда как узбек выразил только функцию его. В последних примерах особенно ясна тенденция рабочих выразить функциональную сторону прибора.

На этих образцовых примерах мы хотим показать основные направления работы производственной мысли рабочих-националов и отметить, что самый частый прием технического и технологического анализа совершается по аналогии с уже имеющимся инвентарем производственных понятий, сложившихся в родном быту, и с сопутствующими им терминами. И здесь всегда ясно выступает стержневое понятие, которое сначала употребляется для обозначения основы предмета и связанной с ним главной функции; скажем, *çaltäk* (узб.) 'колесо' вообще может быть и действительно «колесом» и также «колесиком» и т. д., как мы часто склонны безграмотно называть неизвестные нам части какого-нибудь механизма, хотя они имеют свое специальное назначение и специальное название; *çaltäk* в этом смысле может обозначать шкив (трансмиссии), вращающийся цилиндр, блок, цилиндрический блок, катушку и т. д. Когда же анализ проникает глубже в процессе применения данного термина, то мы видим, как таковой начинает дифференцироваться или заслоняться самым совершенным из имеющихся в обиходе понятий. В этом направлении приходилось много раз прослеживать такие примеры. Некоторые узбеки все валики ватерной машины склонны были

обозначать термином oqlaw 'скалка', 'длинный деревянный цилиндр', что соответствует виду валиков ватера, другие рабочие импрессионистски называли их ʔaltäk (узбеки), tutäk (таджики), а третьи прибегали к русскому термину valik — под влиянием русской производственной среды. Однако более углубленное отношение, экспериментально выдержанное в отношении дифференциации термина, разложило понятие «валик» на oqlaw 'длинный', žüvä 'короткий', döngäläk (букв.: 'кружок' (тур.)) 'продолговатый' (узбеки), lula, peçak, tutäk и др. (таджики), и эти термины во всяком случае достаточно точны для обозначения формы и назначения частей машины. В подборе специальных определений, сопровождающих термин, уточняется название детали машины, причем интересно обратить внимание на то, что одни руководствуются качественными признаками, другие — функциональными. Например, чистительный валик (окутан сукном): — tazäläwci oqlaw 'чистительный валик' или lulaji rašmi (тадж.) 'суконный (шерстяной) валик'; oqi rah rah (тадж.) 'рифленый цилиндр' (букв.: 'ось') или gonpa (первичное значение «рубанок» — от слова gonpan (тадж.) 'гнать, прогонять, прочищать' и т. д.); çärim žüvä (узб.), lulaji rusti (тадж.), temir žüvä (узб.), lulaji ohani (тадж.) 'кожаный валик', 'железный валик'. Эти названия, однако, не вполне соответствуют научно-технической терминологии, применяемой на русском языке. Указывая на эксперимент в отношении дифференциации термина, мы не хотим сказать о насильственном вызывании термина у рабочего-национала и лишь определенно подчеркиваем методическую сторону дела в наблюдении термина in statu nascendi, тем более, что прообраз каждого термина мы стремились видеть в среднеазиатских условиях, где зарегистрировали и зарисовали соответствующий материал.

Выше было сказано, что при отсутствии прямого термина рабочий-национал прибегает к описательным средствам и выражает предмет в его функциональных проявлениях. (Обычно как узбеки, так и таджики прибегают к форме причастия настоящего времени: первые на -turpan, вторые на -agi). Мы углубляем это явление следующим замечанием: узбеки стремятся почти обязательно снабдить термин соответствующей детали механизма разъясняющим ее функцию причастием, управляющим иногда, как уже видели, целым рядом грамматических дополнений. Это является интересной особенностью работы мысли узбека. В то же время таджик стремится дать более краткий конкретный термин, часто довольно образный в отношении (tertium comparationis) «переносного значения»: tog peçak (тадж.) 'змеевое вращение', т. е. петлевое вращение початков в шнуровочной машине; oqi rah rah (тадж.) 'рифленый цилиндр'. Сюда напрашивается вероятное объяснение, что таджики от оседлой культуры унаследовали достаточный запас слов, имеющийся в иранской производственной терминологии; узбеки же, тоже часто прибегая к этому культурному наследию, свидетельством чему мы имеем богатое наличие иранских терминов в узбекском производственном обиходе, в случае пробелов в них на родном языке пользуются отмеченной нами многоэтажной структурой термина и определяют деталь механизма по ее функциональным проявлениям.

Регистрируя производственные термины, нужно обратить внимание на русский производственный словарь, входящий в обиход производственного языка рабочих-националов. В наших наблюдениях мы считались с могучим фактором влияния культурно-социальной среды, которую представляет русская терминология для рабочих-националов, и старались также проследить виды и дозы этого влияния. Мимоходом отметим очень своеобразную фонетику и морфологию русского или

западного термина в устах таджика или узбека, в котором мы можем сразу отличить свойственные этим народам фонемы и артикуляции. тем более, что нам приходилось сталкиваться с большинством рабочих, мало владеющих русским языком и мало искушенных в его семантике.

В этих случаях русские производственные слова (также и западные) механически усваиваются рабочим-националом и входят в обиход его слов, как хорошо пристроенные «варваризмы» [3] в любом языке. Это объясняется, несомненно, тем, что определенный конкретный образ части какого-нибудь механизма (особенно если нет близкого понятия, которое можно было бы взять из местных условий), постоянно сопровождаемый определенным же «звуковым спутником» (русским термином) со стороны русских рабочих, мастера, инструктора и т. д., образует условный рефлекс, крепко объединяющий звуковой комплекс и представление предмета в одно неразрывное целое. Это становится достаточно органичным для данного рабочего-национала и показывает, что язык такового обогащается словесным материалом из более культурной производственной среды, обычно укрепляя в себе интернациональные технические термины вроде *water, motor, električeski* и т. д.

При этом влияние производственной среды настолько велико, что при возможности легко достать термин из своего родного обихода и пользоваться им; рабочие-националы заслоняют его более широким семантически и более употребительным технически в культурной производственной среде термином, и таковой выходит массово в повседневный оборот, например, *ragulka, karetka, šajba, šästirnä* и т. д.

Наряду с этим, приходилось наблюдать и такое явление, когда рабочий, усваивая семантику русских и западных терминов, старается постигнуть их обязательно в семантике своего языка и даже стремится к лингвистическому переводу. Например, *selfactor, oppener, ventilator* и др. Интересны переводы одного рабочего (необходимо сказать, стремившегося сознательно заниматься выработкой производственной терминологии), крепко отстаиваемые на коллективных обсуждениях собранного материала в среде рабочих-таджиков как национальные термины: *selfactor—xudaš harakat mikardagi*, букв.: 'сам производящий движение', 'самодействующий'; *ventilator — havo toza mikardagi*, букв.: 'освежающий воздух', 'освежитель воздуха'.

После того как мы прошли по схематическим путям образования производственной терминологии узбеками и таджиками, интересно будет проиллюстрировать тот конкретный материал, из которого образуются те или другие термины.

Интересна будет, пожалуй, именно сама трансформация понятий от семантики местного быта в семантику фабрично-производственную. Здесь мы совершим экскурсию от момента попадания хлопка — *toji raxta* (тадж.) 'кипа хлопка' — со склада к подъемнику и отсюда до ткацкого станка по всем фабричным цехам.

Хлопок попадает при помощи «бесконечного полотна» в кипорыхлитель. «Бесконечное полотно», сделанное из параллельных легкоподвижных деревянных планочек, интересно осознается рабочим-националом: с одной стороны, это *čiyi binuk mekasondagi* (тадж.), *čiy* 'занавеска на окне, двери' (*jalousie*) и также «циновка, сделанная из камышовых планочек»; с другой стороны, это *rahi binuk* (тадж.), где *rah* — «дорога». Наконец, это *rapžgaji binuk* (тадж.), т. е. «бесконечная решетка». Некоторые рабочие давали название, соответствующее русскому термину «полотно» — *sufi (=surf) binuk* (тадж.), по-узбекски — *učsiz gazmal (gazvar) päxtäni alajtarvan*, т. е. «бесконечное полотно, забирающее хлопок»; *učsiz gänlämä, učsiz suryf (p)* — то же (узб.).

«Бесконечное полотно» отправляет хлопок по «сортам» (узб. хуї, хел, тадж. gang, хел) в «яруссы» — хазинā (узб.) букв.: 'кладовая', откуда хлопок отправляется в «шахты» в нижний этаж. «Шахта» — тōjnūk (узб.), т. е. «труба (печки)».

В трепальной машине в значении «бесконечной решетки» встретился еще новый термин — ĉamбага (тадж.). Так как это бесконечное полотно покрыто иглками для расщипывания хлопка, рабочий-таджик называет его ĉамбагаји suзопок 'иглочатая решетка'.

Вышеуказанное рап̄зага (рāп̄зāгā) (тадж. и узб.) служит одновременно для обозначения многих деталей, напоминающих решетку, даже если они содержат только одну ячейку решетки.

Далее обратим внимание на название барабана — ĉāгх, которое обычно для узбеков. Очень интересно переселение этого иранского слова к узбекам и усвоение его ими. Отмечая это мимоходом в отношении прошлого, мы хотим подчеркнуть выдвигание этого слова для обозначения разных систем барабанов на узбекском языке.

В среднеазиатских условиях нам, однако, не удалось установить, что значение ĉāгх соответствует только цилиндрической форме предмета. Например, ĉāгхāk служит для обозначения совершенно плоского зубчатого колеса в кустарных ткацких станках, употребляемого для загибания навойного вала (navvot) и напоминающего по форме зубчатое колесо в часах для удержания заведенной пружины.

Исторически богатая семантика персидского слова ĉāгх в узбекском языке, видимо, выдохлась, оставшись в одном вышеуказанном значении. Этот экскурс, невольный сделанный нами в отношении слова с «большой лингвистической» известностью, лишней раз подчеркивает социальную значимость термина в его диалектике. «Плоское колесо» (ĉāгх в Иране) узбеки и таджики называют только ʔaltāk.

С терминами «барабан» пришлось встретиться еще в нескольких вариантах. У таджиков это dul. Ферганцы называли некоторые барабаны dāmbгā (узб.) 'кузовок музыкального инструмента' и также сам он.

Очень распространено употребление слова dajгā (узб.). Это слово употребляется в отношении короткого барабана, и мы 1-го августа 1929 г. (Международный красный день) на празднестве натолкнулись на этот термин в применении к «пионерскому барабану». Прообраз dajгā (узб.) — «короткий барабан, служащий музыкальным инструментом».

«Щипальный барабан» этой же трепальной машины один из таджиков сложно называл рахтаро кам медодаги рагга-dandonok, букв.: 'помалу хлопкодающий барабан (букв.: 'крыло') зубчатый'.

Чесальный цех интересен довольно сложными деталями машин, но эти детали в западной и русской терминологии носят самые «житейские» названия вроде «шляпа» (Chapeau, Deckel, Flat) или «гребенка» (Hechel, Gille, Peigneuse, Hacker Kamm) и т. д. Узбеки и таджики в своей терминологии оформили эти детали в той же интернациональной семантике (т. е. qalраq) или еще лучше — таджики приспособили русский термин «шляпа» в той же морфологии — šlarоq, а узбеки — qalроq и šilārā (с русским ударением), так же и «гребенку» — šопа и taraq.

В ленточном отделении (с которым тесно связано чесальное) мы также наблюдали совпадения в деталях механизмов с прообразами таковых в кустарных машинах и соответственно — терминов узбекских и таджикских с терминами западно-европейскими и русскими: tos (тадж.),

tas (узб.), *таз* (рус.), *Kanne* (нем.), *pot à ruban* (фр.), *can* (англ.); *bastak* (тадж.), *ilmoq* 'крючок', *Hacker, Crochet, hook*; *dastak* 'рукоятка', *tabaqča* (тадж.) 'тарелка', *Fussteller, can dish wheel* и т. д. Но особенно богатый материал нам удалось наблюдать вокруг ватерной машины. Нам пришлось присутствовать не только во время работы этих машин, но даже при сборке и установке их в Фергане.

Детализированные прообразы ватерной машины богато представлены в кустарных производствах Средней Азии, поэтому рабочий-национал особенно легко и быстро ориентируется в терминологии, относящейся к этой машине. В условиях Средней Азии (где, как мы уже сказали, проверялось каждое производственное слово, записанное при фабричных механизмах на Зарайской и Ферганской фабриках) мы натолкнулись на интереснейшие сооружения по приготовлению шелковой пряжи мокрым способом (кустарный *water*) и намотке ее для ткачества. Настолько четко проходила терминологическая дифференциация деталей, что она не уступает по точности рабочему терминологическому словарю, составленному на любом западном языке.

Интересно отметить, что детали, исполняющие особую рабочую функцию, рабочие-узбеки обозначают всегда почти при помощи отглагольного имени на *-(u)v* с прибавлением аффикса *-či*, например: *ip jüg, yuziči* 'нитеводитель', *to'rylawči* 'направитель', *tazäläwči* 'чиститель' и т. д. Аналогично с этим конструируют термин и таджики — при помощи причастия на *-agi* и дополнения, стоящего впереди него; эта конструкция семантически воспринимается как одно целое в смысле «функционального» существительного: *gespon meresöndagi* 'перематыватель', *havo toza mikardagi* (тадж.) 'воздухооооожитель, вентилятор'.

Можно было бы дать много иллюстраций других вариантов словообразования, но типичные из них уже приведены выше. Иногда термин способен передавать даже довольно сложные функции. В машине, плетущей из нитей шнурки (шнуровочная машина), очень интересно сочетание двух движений: вращательного — отдельной катушки и поступательного — по змееобразной линии. Движение совершается при помощи системы «зубчаток» — *dandona* (тадж.), *tišlik* 'зубчатый', *yüldägäk* (узб.), *šästirnä*. Система катушек названа *jak čumlaji pajča* (тадж.), а змеевое вращательное движение — изумительно точно *mogrečak* (тадж.). Двойное вращение — *mogrečak dubajak* (тадж.) 'двойное змеевое вращение'.

Проследив основные источники возникновения и приспособления производственного языка к фабрично-заводской технике и указав русла основных словообразований, мы брали для нашего словаря те характерные термины, которыми рабочие оперируют в повседневности и которые представляют результат развивающейся культуры на базисе новых для рабочего-национала производственных условий революционной современности.

Весь процесс кристаллизации производственной терминологии есть пока только начало определенных лексических формаций, в которых не видно еще четких граней отстоявшихся терминов. Выше мы видели такие неуклюжие образования вроде «дерево, погоняющее дерево, погоняющее челнок». Вместе с тем национальные производственные термины все более и более выпукло выступают в словоупотреблении производственной обихода и взаимодействуют с соответствующими терминами русской языковой среды; сама производственная обстановка расширяет эти два источника обогащения терминологии. Поэтому мы ясно можем сказать, что положено начало развитию культуры фабрично-заводского языка рабо

чих-националов у нас или на производствах в национальных республиках; этой культуре надо помочь и ждать от нее четких результатов в ближайшем ее поступательном развитии.

Имея научную установку присутствовать при обнаружении терминов в процессе их возникновения, выше мы старались выявить наиболее типичные из них, которые могли бы быть во всяком случае ориентировочными для составления терминологического словаря уже потому, что большинство из них поднялось из кустарно-производственного быта в среду заводских механизмов. Следует также заговорить и о постановке эксперимента по рационализации терминов на определенном методологическом фундаменте, поставить его перед коллективом рабочих того или иного производства при ближайшем участии научных сил из среды лингвистов и технических специалистов и совместно выработать определенный минимум наиболее четких, гибких и вполне спаянных с производственным процессом терминов.

Это вопрос нелегкий, конечно, требующий изучения соответствий между процессами производства и культурным процессом в производственном языке, а также и достаточной методологической детализации. Но по намеченным частично выше вехам уже можно достигнуть стандартизации терминов, могущих служить для повседневного культурно-производственного оборота в рабочей среде, даже при целевой установке рационализации самого производства.

Ведь нужно сказать, что производственная терминология в быстро-развертывающемся темпе советского строительства в национальных республиках играет столь же необходимую роль, как сами машины, технический персонал, сырье и т. п., вплоть до прозодежды и других мелких аксессуаров производства. Производственную терминологию нужно рассматривать и как средство внедрения наикратчайшим путем (следовательно, самым ценным для режима экономии времени и материальных средств) нужных технических знаний для постижения технических и технологических процессов рабочими-националами. Наконец, производственная терминология есть неотъемлемая часть технического и технологического процессов и в постановке рационализации производства, являясь четким коммуникационным средством между инструктурой и рабочими, а также и между самими рабочими как система условных обозначений, система сигналов и т. д.

Попытаемся выдвинуть ряд методических рассуждений. Одно из них — против мертвого, схоластического составления словаря производственных терминов в оторванном от производства кабинете. Мы знаем попытки, и довольно беспринципные, к заполнению пробелов «скудного» производственного лексикона словами из арабского словаря и безапелляционного внедрения их в рабочую среду. Вообще, всякий абстрактный словарь с любым уклоном, вплоть до национал-шовинистического, не будет живучим в рабочей среде и национальном строительстве.

Второе рассуждение придется направить против абстрактного интернационализма терминов, хотя бы с уклоном в сторону русского «богатого» словаря и столь же «богатого» механистического посева их в национальном языке, и заслонения родных, органических на данной стадии языка национальных терминов.

Ничего не возразишь против таких прекрасно усвоенных языком терминов, как *transmis* (тадж.) 'трансмиссия', *apparat* (тадж.) 'аппарат', *qaltaki transmis* (тадж.) 'шків трансмиссии', *pšitiš apparat* (узб.) 'вытяжной аппарат'; ср. кальку *musallasi dandonador* (тадж.) 'конус-

ная шестерня', но такой термин, как *tail čarsak* (узб.) 'приклон' (ватерная машина) будет абстрактным переводом названия части механизма и вряд ли усвоится рабочими. Наоборот, в данном случае русск. *приклон* отлично усвоилось узбеками и таджиками, ибо соответствует законам их языка и прошло через ряд посредствующих звеньев, выработавших крепкий условный рефлекс.

Ничего хорошего не вышло с заимствованием термина для детали той же ватерной машины *separator*. В национальном сознании оно преломлялось то как *hazogroja* (тадж.) 'многоножка' (букв.: 'тысяченокка'), то как *čangak* (тадж.) 'крюкодержатель' (букв.: 'содержащий', *čāp ~ čang*' (узб., тадж.) 'крючок', 'коготь'), то как *rānžāgā* (узб.) 'решетка'. Этот термин никак не мог прижиться в виде *separator*; не была осознана его функция как разделителя нити от соседней, чтобы они не могли перехлестнуться.

Здесь, конечно, понадобится дать такой конкретный термин, который бы, при отсутствии его в родной терминологии и отсутствии аналогии в деталях, не был бы навязан в виде абстракции «*separator*» или вытаснен, как это часто делается, из арабского языка. Во всяком случае, предпочтение останется на стороне, может быть, несовершенного термина, но семантически и формально близкого к конструкциям узбекского языка *ip ažgatmaqči* (узб.) 'нитеразделитель', что рабочие приняли с удовлетворением на собрании по обсуждению терминов. Национальный термин *belča* (тадж.) 'лопатка' в смысле «валикодержатель» (*roller stand*), будучи семантически лишен конкретного отношения к выполняемой функции, также может быть предпочтен более точному иностранному термину только потому, что с ним четко увязан комплекс производственных представлений в сознании рабочего-национала.

Те абстрактные национал-шовинистические термины, которые выкапываются часто из числа социально отживших слов, не могущих участвовать в диалектике словоупотребления, напоминают шишковщину в русской истории, в ее «мокроступах» и «хорошилищах» или же местные словосочетания вроде *šajtonagoba* 'чертова арба' (тадж.) вместо «велосипед»; такому словопроизводству не следует отводить место в языковом строительстве.

Однако не следует забывать и диалектических законов социальной динамики, нередко из пластов прошлого своим движением выхватывающей заостреннее слова и придающей им социальную значимость и новое семантическое содержание. Тадж. *lunda* 'шарик' в его новой семантике «отвес» для проверки «глазков» (ватерная и другие машины) семантически не хуже его западных братьев *Senkblei*, *plomb*, *plumb rule*. А слова *čāšmāk* (тадж.), *közājnāk* (узб.) 'глазок' или *gušāk* (*gōjšāk*) (тадж.), *qulaqča* (узб.) 'ушко', вполне соответствуя западным терминам *Oese*, *Oeillet*, *Eyelet*, должны быть предпочтены «узбекскому» термину *uški*, взятому из русского (русс. мн. ч. фонетически оказалось более близким узбекскому). Таких примеров можно привести много.

Третий момент, которого мы можем коснуться здесь, — это вопрос использования зарубежных терминов из языков, родственных данному, например, персидских для таджикского языка. Этот момент обоюдоострый в том, что, с одной стороны, эти термины могут быть идеологически нежелательными для культуры языка, но другая сторона в том, что всякий импортный товар трансформируется у нас для целей социалистической экономики, лишь бы при помощи него ускорялось строительство и росло социалистическое производство. Так и «импортные» термины: если они соответствуют строю данного языка (обычно же они участ-

вуют в данном языке, только часто в иных семантических функциях) и могут быть легче в нем трансформированы и усвоены (сравнительно, скажем, с русским или западным термином), то они определенно могут быть использованы в производственной обстановке и войти в круг терминов данного языка. Видимо, надо найти какие-то реальные грани всех возможностей конструирования производственного терминологического словаря.

Во всяком случае, картина такова, что рабочий-национал, посылаемый своею национальной республикой в промышленные районы Союза для обучения одному из фабрично-заводских производств, долгое время остается беспомощным без соответствующей терминологии как на производстве, так и в школе ФЗУ. Он мог бы, конечно, наряду с усвоением производства обучиться русской терминологии, мог бы пройти путь механического усвоения определенной группы русских или западных терминов и оперировать ими в русской производственной среде. Однако, коль скоро мы представим себе такого рабочего в национальных условиях (а мы имеем достаточно фактов наблюдения), мы можем определенно сказать, что русский технический лексикон ограничивается очень узкими возможностями общения, например, между рабочим и русским инструктором, но он совершенно не может быть использован продуктивно и экономно, скажем, с рабочими-новичками, поступающими на фабрику из кишлаков, или вообще с рабочими, не обучавшимися в условиях русской терминологической среды; он сразу обрушивается балластом, загромождающим родной язык и долго остающимся неиспользованным утильсырьем.

Ведь недаром же в госаппарате любой союзной республики требуется обязательное знание национального языка и делопроизводство на нем. Так и в производстве, если между языком кустарных национальных производств и фабрично-заводским лексиконом образуется брешь, то сейчас же обнаружится и прорыв на фронте экономии времени и средств. Между тем производственная терминология, тщательно зарегистрированная, изученная, отсортированная и сознательно приспособленная к производству как самими рабочими, так и научными работниками, даст целый ряд преимуществ и достижений в процессе обучения производству и достаточно соблюдет режим экономии. Мы натолкнулись на такие характерные факты в русской терминологической среде, когда определенные части машин слишком индивидуализированно (на границе безграмотности) называются отдельными русскими рабочими *русалка, шишок, стругалка* и т. п., тогда как эти части имеют точные технические названия.

При рационализированной постановке производства такие квазитермины поведут к ущербу в усвоении технического процесса, к ущербу во времени, которое теряется в процессе инструктажа на неправильно построенный комплекс двигательных рефлексов и т. п. Но, поскольку органы НОТа [4] и НОПа [5] стремятся изжить случайность и хаос разными мероприятиями, работники-лингвисты могут сделать большое дело в рационализации производства путем методически выработанной терминологии в рабочей среде.

Так же в условиях фабрично-заводского ученичества или ЦИТовской [6] установки дело обучения рабочих при наличии производственного словаря прошло бы экономнее во времени, энергии и деньгах; при этом был бы избегнут нудный процесс обучения рабочих-националов, столь известный в повседневной практике учителей ФЗУ или инструкторов в производстве. Наличие же терминологии, фонетически воору-

женной на основе социально наиболее значимого диалекта данного языка и снабженной соответствующими иллюстрациями деталей машин, дало бы нужное вооружение как преподавателю ФЗУ или другой школы, так и инструктору на производстве, а больше всего — самому рабочему-националу.

Сам же рабочий всегда сумеет локализовать для себя тот или иной фонетический оттенок термина согласно своим говорным особенностям и, приблизив к своему сознанию соответствующий образ производственного быта из родной среды, создать нужный комплекс представлений для усвоения той или иной детали механизма и обобщить его на родном языке также и для тех рабочих-националов, которые имеют проблемы в производственных понятиях, о чем мы уже говорили выше.

Если ознакомление рабочего с производством и его обучение происходят в условиях национальной республики, то необходимость выработанной производственной терминологии еще более укрепляется и тем, что переход от бытовых производственных понятий к понятиям машинной техники будет опосредствован путем научных принципов и, следовательно, не будет стихийным, а это опять выгодно для режима экономии. Наряду с этим начнется и процесс непосредственного упорядочения, связанный с диалектикой языка, развивающейся в среде производства, а именно возникновение, рост, отбор, приспособление и шлифовка терминов у самих рабочих и ими самими, т. е. тот культурный процесс в плане языка, который необходим для индустриального строительства. Этим еще раз подчеркивается роль слова как орудия производства и ставится проблема работы над ним по линии рационализации его в условиях машинной и социальной техники.

Наконец, если работа по собиранию и обработке производственной терминологии будет производиться по разным отраслям фабрично-заводской техники, подобно нашему малому опыту в текстильном производстве, то может возникнуть капитальный труд—технический словарь, роль которого огромна для темпов нашей экономики. Достаточно взглянуть внимательно на такие классические труды, как например, «*Illustrierte technische Wörterbücher*» (Schlommann, Oldenburg) или издаваемый английским Министерством труда—Ministry of labour «*A dictionary of occupational terms*» (London, 1927), и мы ясно поймем значение таких трудов в западно-европейской действительности. Поставленная перед научными работниками-лингвистами задача оснащения национальных республик такими капитальными словарями после успешного ее выполнения явится одним из заметных вкладов в базис экономики Советского Союза. Большой интерес для лингвистов будет уже и в том, чтобы присутствовать при зрелище лексических формаций в их становлении, в диалектике их семантических переходов и, наконец, поработать над самой конкретной методикой использования указанных выше источников терминологии на базисе тех принципиальных установок, которые диктуются нашей социально-экономической современностью, и на основе фонетических и морфологических, даже ритмических, законов, выдвигаемых определенным языком при освоении иноязычного термина. В литературе по выработке терминологии очень мало работ и еще меньше удачных, что показывает, как серьезен этот вопрос в национальном языковом строительстве и как важно скорее решить его.

#### П Р И М Е Ч А Н И Я

<sup>1</sup> Печатается по: Культура и письменность Востока. М., 1931. Кн. 9. С. 38—50.

<sup>2</sup> Данная работа представляет собой доклад, прочитанный в секции языка Научно-

исследовательского института народов Востока и увязанный с общей системой работ Института по прикладной лингвистике.

Приношу большую благодарность фабрикам: Зарайской «Красный Восток» и Ферганской имени Дзержинского за возможность осуществления моих наблюдений над производственным языком и особенно рабочим этих фабрик — таджикам и узбекам за внимание и помощь в моей работе, больше всего т. Нуру Хасанову и т. Юлдашеву, а профессорам — Миллеру Б. В., Жиркову Л. И. и Яковлеву Н. Ф. за ряд указаний и советов и, наконец, за ознакомление автора с механизмами и процессами прядения и ткачества преподавателю ФЗУ «Красный Восток» т. Копейкину П. В.

<sup>3</sup> Употребляю, к сожалению, принятый в «теории слова» термин.

<sup>4</sup> НОТ — научная организация труда.

<sup>5</sup> НОП — научная организация производства.

<sup>6</sup> ЦИТ — Центральный институт труда.

## ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

М. А. БОРОДИНА

## АТЛАС И ТЕКСТ

В настоящее время, когда подготовлен к печати Пробный том «Диалектологического атласа тюркских языков СССР», завершается работа над рядом атласов конкретных тюркских языков (например, киргизского языка), а над другими подобными атласами работа продолжается (равно как и над региональным «Диалектологическим атласом тюркских языков Сибири»), для тюркологов-диалектологов могут представить известный интерес наши соображения по вопросу о соотношении собственно атласа и текста — либо внутри атласа, либо вне листа карты, при том что этот текст имеет непосредственное отношение к атласу.

Атласы — это один из распространенных жанров изучения языка. Было бы неправильно думать, что атлас состоит только из карт. Обязательной частью атласа является текст. Его может быть больше или меньше, но он должен быть, потому что иначе атлас нельзя «прочитать».

Текст атласа носит разный характер и распределяется по-разному.

1. Текст вне листа карты: вопросники или программы, издаваемые обычно задолго до появления атласа. Как правило, по ходу анкетирования вопросники несколько изменяются: часть вопросов отпадает, часть добавляется.

2. Вводные статьи, которые вместе с вводными картами (см. ниже) помещаются в первом томе атласа. В этих статьях отмечаются исполнители, инициаторы и консультанты, ход работы (начало анкетирования) и прочие необходимые сведения самого общего плана. Здесь содержатся списки и характеристика (с указанием количества жителей) населенных пунктов, где происходило анкетирование (названия населенных пунктов приводятся часто в их литературной и народной формах), списки информантов (анкетированных), т. е. людей, с которыми диалектолог работает и в поле, их возраст (иногда и профессия, что тоже весьма важно); описывается методика работы и приводятся любые другие сведения, которые могут быть полезными для работы над картой.

3. Вводные тома, носящие теоретический характер, выходят часто отдельными изданиями и предшествуют созданию атласа. В них более или менее детально описываются история и география исследуемой территории, ее языковые, а часто — этнографические и фольклорные особенности.

4. Препринты, в качестве которых, помимо программ собирания материалов, иногда издаются отдельные этюды, исследования, комментированные карты. Так, значительное количество препринтов выходит по ходу работы над Общеславянским лингвистическим атласом (ОЛА): это вопросник ОЛА, фонетическая транскрипция для ОЛА, Материалы

и исследования по ОЛА, Библиография ОЛА, Пробный выпуск ОЛА. Тюркологам следовало бы тоже расширить организацию работы над создаваемыми диалектологическими атласами в направлении предварительного обсуждения (в форме препринтов) ряда проблем, возникающих при атласировании.

Текст на карте состоит из следующих компонентов.

Это номер и название карты, т. е. легенда карты, спрашиваемое явление. Если, например, слово спрашивалось в определенном контексте, то приводится весь контекст с выделением нужного слова. Если атласы серийные, то делается отсылка на те же явления других серий; при наличии атласов родственных языков совпадение обследуемых явлений делает желаемыми отсылки и на эти атласы. Часто название темы карты переводится на интернациональные языки.

Легенда карты помещается обычно (поле обязательно) в левом верхнем углу листа карты. Свободные пространства листа карты также могут быть заполнены любым дополнительным текстом, нужным исследователю, включая зарисовки этнографических реалий.

Для записей у пункта обследования обычно выбирают основные одна-две картографируемые формы. Однако информатор в поле зачастую узнает много дополнительных сведений. Часто они остаются в его рабочих тетрадях\*.

Известно, например, насколько бедна дополнительной информацией карта Лингвистического атласа Франции Ж. Жильерона. В атласах, составленных за последние десятилетия, информация к картам значительно увеличивается. В серии «Новые лингвистические атласы Франции по регионам» она помещается часто на нижнем поле карты, специально для этого отведенном. Сведения разного содержания могут быть помещены в любом свободном от карты месте листа. Если, например, Венгрия и Румыния в соответствии со своими исконными очертаниями хорошо ложатся на лист, не оставляя больших свободных пространств, то карта Италии даже при том, что для удобства размещения она разделена на две части, не занимает полностью лист бумаги, на котором она расположена.

В Лингвистическом атласе Валлонии на обороте каждого листа карты в последовательности пунктов приводится большая информация.

Своеобразно расположение нагрузки Лингвистического атласа бассейна Средиземного моря: здесь вся информация приходится только на территорию побережья.

Часто составитель атласа является и творцом первых исследований по атласу, а это повлекло за собой появление смешанного жанра «атлас+монография» и в отдельных случаях — «атлас+монография+словарь».

Комплексный жанр исследования «атлас+монография» характеризует современную школу французских диалектологов. Однако этот тип исследования довольно часто встречается во всех странах и в разные эпохи.

Возникает вопрос: что же такое атлас — исследование или материал для исследования? В разной мере и в зависимости от поставленных задач атлас является и тем, и другим. Но во всех случаях атлас составляется с учетом необходимости фиксации диалектов, диалектных форм речи, вытесняющихся литературными стандартами и исчезающих

\* Таковы знаменитые в лингвогеографии «cahiers bleus» — «синие тетради» Э. Эдмона, которые хранятся в архиве Национальной библиотеки в Париже и к которым современные французские диалектологи регулярно обращаются.

с катастрофической быстротой. Поэтому на первом месте должно быть объективное отражение диалектного состояния, свойственного времени анкетирования.

В отдельных случаях атлас посвящен одной определенной теме и является исследованием этой темы. Таков Лингвистический атлас форм двойственного числа в словенском языке, составленный Л. Теньером и изданный в Париже в 1925 г., который в одном опусе органически объединяет монографическое исследование и атлас. Анкета этого атласа включает 425 фраз, предназначенных для перевода на диалект, из них 200 вопросов ориентированы на выявление способов выражения двойственного числа, остальные — на явления фонетики, морфологии и синтаксиса. Тем не менее и в этом случае автор одновременно с атласом издал обширную монографию о формах двойственного числа в словенском языке (Париж, 1925). Ср. также атлас В. Гисе «Диалектная география голландского диминутива». Гент, 1936—1938.

В последние годы, когда сохранение и восстановление памятников культуры является одной из первоочередных задач, с особой остротой возникает также необходимость исследования и фиксации культуры диалектной речи, находящейся за пределами литературного языка. Задача сложная: литературный язык так или иначе нормирован, в то время как региональная, местная речь весьма вариативна — от литературных региолектов до индивидуальной речи, к которой в последнее время стал применяться термин «идиолет». Атлас — это памятник прошлого и настоящего, который, раз появившись, будет служить много столетий, сохраняя уже исчезнувшие формы деятельности человека.

---

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

### РЕЦЕНЗИИ

#### Н. НАРТЫЕВ. СТРОИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ТУРКМЕНСКОМ ЯЗЫКЕ

ПОД РЕД. П. А. АЗЫМОВА, Н. А. БАСКАКОВА.

АШХАБАД: ЫЛЫМ, 1988. 203 с.

В современном туркменском языкознании вопросы синтаксиса сложного предложения до сих пор изучены недостаточно. Проблема эта освещалась лишь в трудах А. Н. Поцелуевского, А. Аннанурова, М. Хамзаева и в некоторых небольших работах других языковедов. С этой точки зрения появление монографии Н. Нартыева представляется весьма актуальным.

В монографии впервые в туркменском языкознании четко отграничиваются сложноподчиненные предложения от простых предложений с причастными, деепричастными, отглагольно-именными, абсолютными и другими предикативно-именными оборотами. В работе анализируются лингвистические исследования, посвященные традиционному вопросу о «придаточном предложении и обороте», а также проблема паратаксиса, высказываются суждения касательно изучения структуры сложного предложения современной тюркологией. Автор предлагает классификацию сочинительных союзных средств и определение некоторых структурно-функциональных типов сложноподчиненных предложений с союзными словами *дийин, диеи* 'что'. Например: *Бирден Наташанын келлесине оlara хокман көмек бермек герек диеи никир гелди* (Я. Мэммедиев. Эне топрак) 'Вдруг в голову Наташи пришла мысль, что им обязательно надо оказать помощь'. Систематизация сочинительных союзов и классификация сложносочиненных предложений по их функционированию, а также определение синтаксического статуса вышеуказанных сочинительных и некоторых подчинительных союзных слов являются примечательной особенностью работы.

Сложноподчиненные предложения в туркменском языке отграничиваются в монографии от сложносочиненных, а последние — от простых предложений с однородными членами.

Далее, в исследовании впервые в туркменском языкознании дана полная структурно-функциональная классификация сложноподчиненных предложений и выявлены такие новые их типы, как сложноподчиненные предложения с придаточным сказуемым, придаточным цели, придаточным сопоставительным и пояснительным. Следует также отметить, что книга Н. Нартыева является новым шагом в изучении тюркского синтаксиса в целом, поскольку в ней на материале одного из тюркских языков впервые анализируется весь синтаксический строй сложного предложения.

Исследуя синтаксис сложного предложения, автор наряду с синхронно-описательным методом использует также сравнительно-исторический и отчасти конфронтативно-сопоставительный метод, что представляется целесообразным, поскольку анализ охватывает туркменский литературный язык и в аспекте диахронии. Данные родственных языков по мере необходимости также учитываются автором. Все это позволяет ему четко выявить структурно-функциональные типы сложных предложений в туркменском языке.

В тюркологии существует мнение, что аналитический способ связи компонентов сложноподчиненных предложений для тюркских языков не характерен. Вопреки этому в монографии на широко развернутом материале туркменского языка достаточно полно выявлены следующие способы подчинительной связи: 1) аналитический; 2) синтетический и 3) аналитико-синтетический.

Здесь мы, однако, не вполне согласны с автором исследования. На наш взгляд, в тюркских языках огузской группы, куда входит и туркменский, компоненты сложноподчиненных предложений связываются не тремя, а четырьмя синтаксическими способами: 1) аналитическим; 2) синтетическим;

3) аналитико-синтетическим; 4) лексико-морфологическим<sup>1</sup>.

Последний способ, так называемое бессоюзное лексическое подчинение, впервые описанный А. Н. Кононовым<sup>2</sup>, но не включенный в данную классификацию, должен найти свое место в системе синтаксических способов связей компонентов сложноподчиненных предложений.

Отсюда можно сделать вывод о том, что при подчинительной системе связи «бессюзными» сложными предложениями следует называть лишь те синтаксические структуры, в которых даже факультативно не употребляются никакие союзные средства. Например: *Уруш ятды хабары тиз вагтда бутун дунйа ййрады* 'Весть об окончании войны стремительно обошла весь мир'. Компоненты таких синтаксических единиц связываются лексико-морфологическим способом, вернее, предикативным оформлением сказуемых. Данные типы связывания компонентов сложных предложений среди тюркских языков огузской груп-

пы наблюдаются в основном в туркменском и турецком языках.

Таким образом, указанный тип синтаксической связи компонентов сложноподчиненных предложений в языках огузской группы, а также в других тюркских языках не является типологическим, т. е. можно сказать, что бессоюзность не представляет специальной лингвистической проблемы в изучении системы тюркского синтаксиса, поскольку в большинстве случаев предложения, характеризующиеся в лингвистических работах как бессоюзные сложные, на деле являются сложносочиненными и лишь иногда — сложноподчиненными. Каждый из компонентов сложносочиненных предложений представлен отдельной единицей текста, тогда как сложноподчиненные предложения, будучи комплексными и синсемантическими синтаксическими единицами, входят в текст целиком. Одним словом, сложные предложения, употребляющиеся без союзов, не предполагают «особой» системы актуального членения в коммуникативном синтаксисе, равно как и не требуют специальных структурно-семантических классификаций.

В целом результаты, полученные автором на материале туркменского языка, могут послужить серьезным подспорьем в изучении ряда актуальных проблем современного тюркского языкознания.

М. М. Мусаев

<sup>1</sup> Мусаев М. М. Структурно-функциональная классификация определительных придаточных предложений в тюркских языках: (на материале языков огузской группы) // Сов. тюркология. 1986. № 4. С. 60.

<sup>2</sup> Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.; Л., 1956. С. 514—527.

ТАТАРСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ: ОК. 25 000 СЛОВ/  
И. А. АБДУЛЛИН, Ф. А. ГАНИЕВ, М. Г. МУХАМАДИЕВ,  
Р. А. ЮНАЛЕЕВА; ПОД РЕД. Ф. А. ГАНИЕВА

КАЗАНЬ: ТАТ. КН. ИЗД-ВО, 1988. 462 с.

Вышел в свет «Татарско-русский словарь» под редакцией Ф. А. Ганиева (авторы — И. А. Абдуллин, Ф. А. Ганиев, М. Г. Мухамадиев, Р. А. Юналеева). Издание долгожданное (предшествующий словарь был издан в 1966 г. и давно стал библиографической редкостью) и, без сомнения, нужное, особенно в условиях активного двуязычия. Потребность в такого рода словарях заметно возрастает сейчас, в период усиления интереса и внимания к национальным языкам народов СССР.

Охват большей части лексики татарского языка (в словаре около 25 тыс. слов), в целом хороший уровень лексикографического описания будут, на наш взгляд, способствовать широкому использованию словаря. В частности, можно будет прогнозировать активное применение его в учебном процессе в школе.

Материалы словаря позволяют эффективно использовать его при изучении как татарского, так и русского языков.

Словарь включает значительное количе-

ство новых слов, словосочетаний и значений; см., например: *узгэрген кору* 'перестройка', *остазык* 'наставничество', *компьютер*, *фломастер* и др. Материалы по многим словам (значения) уточнены с учетом данных «Толкового словаря татарского языка» в 3-х томах (Казань, 1977—1981) и ряда других источников.

Издание содержит информацию о некоторых особенностях употребления слов. Так, все слова в русской части, а также татарские слова, имеющие ударение не на последнем слоге, снабжены знаком ударения, причем авторы стремятся отразить и те случаи, когда в современном языке отмечается колебание ударения (см. равноправные варианты *творбэ* и *тврбог*, *индустрия* и *индустрiя* и др.).

В отличие от предшествующих словарей, в рассматриваемое издание последовательно вводятся материалы по морфологической характеристике, все слова сопровождаются указанием на часть речи, особо отмечаются случаи употребления одной части речи в значении другой.

При описании ряда слов составители используют сведения, касающиеся внутреннего состава слова. Так, при характеристике числительного *өч* 'три' указывается, что оно в сложных словах переводится компонентами три-, трех-, трс- (*өч айлык* 'трехмесячный'...). В связи с этим нам представляется целесообразным в дальнейшем выделять в качестве заглавных единиц некоторые морфемы, элементы слов (в частности интернациональные), например, авиа-, авто-, теле- и т. п. Это позволит, не увеличивая объема словаря, а нередко даже уменьшая его, представить материалы, касающиеся значительной группы слов (см. в словаре *автобаза*, *автовокзал*, *автозавод*, *автоколонна*, *автомагистраль*, а также *автоберләшмэ* 'автообъединение', *автомәктәп* 'автошкола', *автошәһәр* 'автогород', *автохужалык* 'автохозяйство', *автоэчергеч* 'автопилка' и многие другие).

Практическую пользу имеет впервые проведенное составителями словаря выделение в качестве заглавных единиц инфинитивных форм на *-рга/-ргэ* (*укырга* 'читать'). По нашему мнению, нужно привлекать эти формы и в русско-татарские словари при переводе русских глаголов, поскольку русский инфинитив полностью совпадает с татарскими формами на *-рга/-ргэ*, и современными носителями языка эти два явления воспринимаются как прямые соответствия. Этого нельзя сказать об именах действия на *-у/-ү* (в предшествующих словарях они приводятся как эквиваленты русского инфинитива), которые в языковом сознании обычно соотносятся с русскими отглагольными существительными.

Для словаря характерно широкое использование различного рода помет, которые позволяют добиться точности описания: функциональные, указывающие на об-

ласть применения слова (*авиа.*, *анат.* и мн. др.), стилистические (*высок.*, *прост.*, *разг.* и др.), эмоционально-экспрессивные (*вульг.*, *ирон.*, *фам.*, *шутл.* и др.), статистические (*редк.*), хронологические (*ист.*, *уст.*) и др.

Из-за ограниченного объема составители отказались от привычного для словарей компонента — иллюстративного материала. В определенной степени отсутствие примеров компенсируется за счет включения в словарную статью пояснений, показывающих особенности употребления слова: *калын*... 3. густой, низкий; грубый (*о голосе*) 4. толстый, грубый (*о ткани*)...; *илбасарлык* ... захватнический (напр., *политика*).

Словарь предназначен для широкого круга читателей.

Можно отметить и отсутствие некоторых слов: например, есть *хром*, *цинк* и другие, но нет слова *алюминий*; есть *капитан*, *подполковник*, нет слова *майор*; есть *алтыкөнлек* 'шестидневка', нет слова *бишкөнлек* 'пятидневка' и др. Встречаются ошибки, неточности, опечатки в татарской и русской частях; к примеру, необходимо *кырыллатып* 'с краю, сбоку' вместо *кырайлатып*; в русском языке татарскому *бутышник* соответствует *будочник* (а не *бутышник*); в некоторых необходимых случаях отсутствует знак ударения (см.: *образлы*, *феномен*, *фазалы* и др.) и т. п.

Вряд ли было необходимо включать в словарь некоторые малоупотребительные слова (см., например, в словаре *кырма* П 'трахома', *бутышник* 'будочник', которые сопровождаются пометами «устаревшее», «диалектное»).

Составление словаря — сложный процесс, и, как справедливо указывал крупный специалист в этой области И. И. Срезневский, «ни в одной книге пропуски и неверности, вольные и невольные, не столько возможны и простительны, как в словаре». Надеемся, что недочеты, выявленные в рассматриваемом словаре, будут устранены в последующих изданиях.

При работе над словарем важно добиться единообразия в отборе и описании сходных слов, а также слов, относящихся по своим признакам к одному ряду. Это в первую очередь тематические группы; сейчас в словаре по-разному описываются, например, названия месяцев (ср.: *май* и *январь*), слова, связанные с названиями народов (ср., с одной стороны, *эстонча: нареч.* по-эстонски, на эстонском языке // *прил.* эстонский, *узбэчэ* и, с другой — *белорусча: нареч.* по-белорусски, *бурятча*) и т. п. Отмечается разноречивость в подаче числительных и слов, образованных на их основе; ср.: *егерме* 'двадцать' (*егермеле*, *егермеләп*, *егерменче*, *егермешәр*), *утыз* 'тридцать' (*утызлы*, *утызычы*), *кырык* 'сорок' и др.

Ценным дополнением к словарю являются включенные в приложение списки гео-

графических названий Татарской АССР и татарских личных имен, где помимо татарских форм представлены и русские написания.

Создано полезное, нужное пособие для носителей русского и татарского языков, живущих в условиях двуязычия.

К. Галиуллин

### БАЈРАМ ӘНМӘДОВ. АЗЭРБАЈЧАН ДИЛИ ШИВЭЛЭРИНДЭ СӨЗ ЈАРАДЫЧЫЛЫҒЫ (САДЭ СӨЗЛЭР)

БАКЫ: В. И. ЛЕНИН АДЫНА АПИ-НИН НЭШРИЈАТЫ, 1987. 80 с.

Книга Б. Ахмедова «Словообразование в говорах азербайджанского языка (простые слова)» посвящена исследованию односложных диалектных слов, состоящих из одного, двух, трех и четырех звуков, и их историко-этимологическому анализу.

Книга состоит из краткого введения и трех глав.

Во введении говорится о роли диалектов и говоров в обогащении литературного языка и т. д.

В первой главе рассматриваются структурные изменения односложных (1, 2, 3-фонемных) диалектных слов.

Материалы тюркских письменных памятников показывают, что исторически существовали слова, состоящие всего из одного гласного; позже из них образовались новые слова, например, от слова *ө*: 'думать', размышлять' образовались слова *өг*, *өј*, *өгүд*//*өјүд*, *өгрен*//*өјрэн*, от слова *у*: 'сон' — слова *уј*, *уј+гу* > *ју-гу* > *јуху*. От слова *ы*, отмеченного в источниках в значениях 'растение, дерево' и т. д., образовалось слово *ј-ы-ғач* > *ығ+ач* ~ *ы+ғач* > *ағач*. Слово *ј-и-јә* также восходит к слову *и*: 'господин, хозяин' (с. 6) и т. д. Подтверждением этому служат диалектные слова *ә*: 'эй, мужчина', 'эй, парень', *а*: — междометие, выражающее удивление.

В диалектах есть группа слов, имеющих в настоящее время форму ГС. В источниках отмечено, что часть этих слов первоначально существовала в варианте СГС, что наблюдается и по сей день в других тюркских языках: *еј* ~ *јеј*//*јек* 'хороший'; *ил* ~ *јыл*//*јил* 'год'; *үз* ~ *јүз* 'лицо'; *ол* ~ *пол*//*бол*//*бул*//*шол* 'он, она, оно'; *ит* ~ *јит* 'потеряться'; *од* ~ *јот* (якут.)//*вут* (чуваш.); *он* ~ *јон* (чуваш.); *эл* ~ *јэл* (гагауз.); *үч* ~ *јүч* (узб.) и т. д. По мнению автора, эти слова первоначально имели форму СГС, а затем, в результате выпадения начального согласного, приобрели форму ГС.

Б. Ахмедов отмечает, что некоторые корни современных вариантов СГС в древности имели структуру СГ. Так, древними корнями слов *син*- 'нагнуться', *габ* 'посуда', *кэс*- 'резать', *кэрт*- 'резать', *сын*- 'сломаться', как он считает, были соответственно *си*-, *га*-, *кэ*-, *сы*-. Неоспоримым, на наш взгляд, является и тот факт, что первоначальными вариантами местоимений *мэн* 'я' и *сэн* 'ты' были *би* и *си* (с. 16).

Об односложных трехфонемных словах в книге говорится: «Анализ этих слов, употребляющихся в диалектах, показывает, что определенная часть таких лексем, составляющих внушительный пласт диалектной лексики, исторически подвергалась серьезным изменениям. Часть диалектных слов структуры СГС существовала в форме ГС; позднее в них произошла вставка начального согласного. Другая же часть имела в древности форму СГ и позднее присоединила конечный согласный. Часть же уже возникла в форме СГС» (с. 19). По мнению автора, хотя определенная часть диалектных слов структуры СГС и функционирует в качестве самостоятельных единиц, многие из них, сочетаясь с другими словами или аффиксами, потеряли свою лексическую самостоятельность.

Во второй главе книги («Анализ четырехфонемных односложных слов») проводится анализ около ста диалектных слов. Автор указывает, что в диалектах азербайджанского языка существуют односложные слова типа СГСС, которые исторически не могли иметь такую форму, поскольку стечение согласных было нехарактерным для древнейшего этапа развития тюркских языков. Корень слов с такой звуковой структурой может рассматриваться как результат определенных исторических изменений. Мысль о том, что выпадение гласного, находившегося между двумя согласными, произошло в более поздний период, на наш взгляд,

справедлива. Об этом свидетельствует и тот факт, что в диалектах азербайджанского языка двусложный вариант СГСГС некоторых слов более распространен, нежели односложная структура СГСС: *бөрк* > *бөрүк* 'шапка', *гырк* > *гырых* 'сорок', *көрк* > *көрүк* 'видение', *кори* > *коруш* 'тупой', *гурс* > *гурус* 'тяжелый', *зылх* > *зылых* 'бурак', *фарш* > *фарыш* 'сосуд для воды' и др.

Таким образом, автор, анализируя слова структуры СГСС, приходит к выводу, что первоначально они были двусложными, состоящими из корня и аффикса, позднее же произошло выпадение закрытого гласного из аффикса (с. 50).

В третьей, последней, главе («Производные слова») подробно рассматриваются корни *ак-//аг-//ах-* 'подниматься, возвышаться' и *ај-* 'говорить, рассказать' и их дериваты.

В настоящее время лексемы, образованные в результате присоединения к указанным корням различных аффиксов или слов, воспринимаются как простые, неразложимые языковые единицы. Ср. производные от корня *ак-* слова *акч* 'крупный, сильный', *аһыл* 'пожилой, постаревший' и т. д. Анализируя ряд дериватов этого корня, автор опровергает точку зрения С. Джафарова, считавшего компонент *-га* в составе слова *акга//агга* 'старший; брат' аффиксом, и указывает, что *га* представляет собой элемент относительно древнего корня (с. 62).

Б. Ахмедов разделяет ту точку зрения (Н. З. Гаджиевой, А. А. Кокляновой), согласно которой корень *ај-* и междометие *ај* — одного происхождения. Особое внимание он уделяет дериватам этой лексемы. Так, по его мнению, между словом *һај*//*/һуј*//*/һој*//*/һүј* 'звук, шум' и корнем *ај-* существует семантическая связь. Слова *һајламах* (*һ-ој-еләмәк*), *һајкырмаг*//*һајгырмаг*//*һајкырмаг* (*һ-ај-кыр*//*һ-ај-гыр*//*һ-ај-хыр*), *һајыхмаг* (*һ-ај-ыхмаг*) и т. д. являются производными от корня *ај-*. Б. Ахмедов отмечает, что есть и такие дериваты, связь которых с корнем *ај-* выявляется лишь при глубоком анализе слова, например: *һарај* 'шум', *һодах* (<*һ-ај-ој-даг*) 'плугарь', *ајнах* (<*ај-ан-ах*) 'забавно говорящий', *ајнат*//*ајнат* 'помощь', *ајгах* 'шум'.

В книге имеются, по нашему мнению, и отдельные недостатки. Иногда неточно используются термины. В диалектологических исследованиях особо важное значение имеют диакритические знаки, однако в книге они применяются не всегда последовательно. Есть погрешности в списке использованной литературы. Однако отмеченные недостатки не умаляют научной значимости книги. Работа Б. Ахмедова написана на высоком научном уровне и представляет ценность для азербайджанской диалектологии и языкознания в целом.

А. Г. Агаев

## ТВОРЧЕСТВО РИЗЫ ФАХРЕТДИНОВА/ОТВ. РЕД. Р. З. ШАКУРОВ

УФА, 1988. 135 с.

Сборник, который составлен по материалам юбилейной научной конференции (Уфа, январь 1984), посвященной 125-летию со дня рождения видного башкирского ученого-востоковеда и писателя Ризаитдина Фахретдинова (1859—1984), включает ряд статей о его жизни, научном и литературном творчестве. Р. З. Шакуров в статье «Выдающийся башкирский ученый и писатель» относит Р. Фахретдинова к числу наиболее крупных деятелей башкирской культуры и просветительства конца XIX—первых десятилетий XX столетия. Автор подчеркивает, что Р. Фахретдинов последовательно отстаивает прогрессивные новшества в области просвещения, призывая своих современников овладеть наукой, зна-

ниями, развивать ремесла, изучать русский язык и русскую культуру и т. д.

Р. А. Утябаев в статье «Просветительская деятельность Ризы Фахретдинова» акцентирует внимание читателей на том, что творческий взлет Р. Фахретдинова был символом достижений научной и общественной мысли Башкирии, воплощением ее национального духа. Его взгляды, по мнению Р. А. Утябаева, уходят корнями к общественно-политическим воззрениям Руссо, Локка, Спенсера.

Г. С. Кунафин в статье «Жанровое своеобразие прозы Ризы Фахретдинова» отмечает, что по масштабности тематики и проблематики, сложности организации сюжета, композиции и системы персонажей, по

уровню идейно-эмоциональной оценки изображаемых характеров и, наконец, по объему текстов прозаические произведения Р. Фахретдинова «Салима, или Целомудрие» (1899) и «Асма, или Проступок и наказание» (1903) следует отнести к средним эпическим формам — повестям.

В статье У. И. Гимадиева «Риза Фахретдинов — редактор журнала „Шура“» дается подробная характеристика литературно-художественной и научно-публицистической деятельности Р. Фахретдинова, благодаря которой тематический размах поднятых журналом проблем становится чрезвычайно широким. Большая заслуга Р. Фахретдинова была и в том, что в журнале «Шура» впервые увидели свет многие художественные произведения, которые до сих пор не утратили своего значения и вошли в сокровищницу литературной классики («Кутадгу билиг», «Кисса-и Юсуф» и др.). По мнению У. И. Гимадиева, труды Р. Фахретдинова, относящиеся к истории, также заслуживают особого внимания, так как он одним из первых познакомил башкирских и татарских читателей с Ибн Фадланом, Ибн Баттутой, Ибн Гарашпой, Марко Поло и многими другими знаменитыми путешественниками и их книгами. Опубликование обстоятельных статей по истории, этнографии, культуре различных народов, населяющих нашу страну, было осуществлено по инициативе Р. Фахретдинова.

З. Я. Шарипова в статье «Риза Фахретдинов — археограф», характеризуя Р. Фахретдинова как крупнейшего археографа своего времени, подчеркивает, что его научные интересы с самого начала были сосредоточены вокруг исследования вопросов истории Урало-Поволжья, истории родного народа и его духовной культуры; именно сн одним из первых поднял вопрос о необходимости государственной охраны письменных памятников культуры. В результате активных поисков и сбора среди населения археографических материалов Р. Фахретдинов создал богатый личный архив, включающий в себя многочисленные исторические документы, различные шеджере, литературные памятники, а также автографы известных ученых, писателей, поэтов и т. п.

В статье И. А. Харисова «Коллекция рукописей Ризаидина Фахретдинова в научном архиве БФАН СССР» (ныне БНЦ УрО АН СССР) подчеркивается, что архив Р. Фахретдинова содержит памятники по истории культуры, литературы и общественной мысли Башкирии, Татарии и отчасти Казахстана. Особого внимания заслуживают сведения, относящиеся к биографии и творчеству Мифтахетдина Акмуллы — одного из наиболее популярных в народе башкирских поэтов. По мнению А. И. Харисова, определенный интерес для историков культуры и общественной мысли Урало-Поволжья представляют письма,

поступившие в адрес Р. Ф. Фахретдинова в 1886—1927 гг. Коллекция рукописей Р. Фахретдинова, хранящаяся в научном архиве БНЦ УрО АН СССР, несомненно, представляет значительный научный интерес для философов, историков, литературоведов, языковедов и заслуживает специального монографического исследования.

Многогранная научно-теоретическая деятельность Р. Фахретдинова раскрывается в статье Г. Б. Хусаннова «Рукописное наследие Ризы Фахретдинова». Автор подчеркивает, что мы знаем лишь малую часть того, что создал Р. Фахретдинов, поэтому раскрыть и показать его неисчерпаемое наследие — дело будущего. Далее Г. Б. Хусаннов останавливается на рукописной коллекции в 40 томах, хранящейся в научном архиве БНЦ УрО АН СССР. Достаточно подробно охарактеризован 24 тома коллекции рукописей Р. Фахретдинова, о которых в свое время сделал сообщения на научных конференциях и в печати А. И. Харисов, а также остальные 16 томов, которые он приобрел в конце 70-х годов. Г. Б. Хусаннов раскрывает содержание некоторых из них, акцентируя внимание на томе под названием «Булгарские и казанские тюрки». Автор статьи считает, что особый интерес представляют эпиграфические записи Р. Фахретдинова, основанные на его полевых работах и ранних письменных источниках. Примечательно, что большинство из них не сохранилось, а те, что дошли до наших дней, трудно поддаются чтению. Следовательно, записи эпиграфий, осуществленные Р. Фахретдиновым, уникальны. Далее Г. Б. Хусаннов особо выделяет исследования по просвещению, культуре татар и башкир, знакомит читателей со страницами, посвященными вопросам взаимосвязи и взаимодействия культур, дружбы народов. Он убежден, что без должного изучения печатного и рукописного наследия Р. Фахретдинова трудно представить историю философии, историю общественной мысли Башкирии и ряда других тюркоязычных республик.

Статья С. М. Шингаревой «Формирование личного архива Р. Фахретдинова в научном архиве БНЦ УрО АН СССР» посвящена новым пополнениям этого фонда. Особо подчеркивается принятие 31 августа 1963 г. Институтом истории, языка и литературы БНЦ УрО АН СССР личного архива ученого из Духовного управления мусульман европейской части Сибири, находящегося в Уфе. В дальнейшем фонд постоянно пополнялся различными материалами, относящимися к жизни и деятельности Р. Фахретдинова, в частности воспоминаниями его современников.

Статьи «Ученый-просветитель, ученый-энциклопедист» М. Ф. Рахимкуловой и «Материалы к биографии Ризы Фахретдинова» Р. Р. Кутушева знакомят читателя с научно-общественной деятельностью уче-

ного и некоторыми историческими сведениями, касающимися его биографии.

Сборник статей завершают библиография книг и статей Р. Фахретдинова, а также список публикаций о нем, которые подготовила М. Ф. Рахимкулова.

В целом рецензируемый сборник производит впечатление серьезного труда. Думается, его актуальность и значимость возросли бы, если бы в нем были помещены и статьи по лингвистике, так как язык и

стиль рукописных произведений Р. Фахретдинова еще не получил должного научного освещения. Хотелось бы надеяться, что в дальнейшем и языковеды-тюркологи не останутся в долгу перед памятью выдающегося ученого, внесшего неоценимый вклад в изучение истории и духовной культуры Урала и Поволжья, в развитие российского востоковедения.

*Р. Х. Халикова*

PERSONALIA

МАМЕД ДЖАФАР ЗЕЙНАЛАБДИН ОГЛЫ ДЖАФАРОВ

(К 80-летию со дня рождения)



9 мая 1989 г. исполнилось восемьдесят лет со дня рождения известного азербайджанского советского ученого-литературоведа и критика, академика Академии наук Азербайджанской ССР, доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Азербайджанской ССР, лауреата Государственной премии Азербайджанской ССР Мамед Джафара Зейналабдин оглы Джафарова.

М. З. Джафаров родился в г. Нахичевани в семье ремесленника. По окончании в 1932 г. Нахичеванского педагогического техникума М. З. Джафаров продолжает учебу на факультете языка и литературы Азербайджанского педагогического института им. В. И. Ленина, а затем заканчивает аспирантуру института. В эти годы происходит становление М. З. Джафарова как ученого широкого профиля. В круг его интересов входят не только азербайджанская и шире — восточная классическая литература, но также русская литература и общественно-политическая и эстетическая

мысль XVIII—XIX вв., он глубже овладевает принципами марксистско-ленинского литературоведения.

В 1938 г. начинается педагогическая и литературно-критическая деятельность М. З. Джафарова. Он преподает историю русской литературы в Азербайджанском педагогическом институте им. В. И. Ленина (1938—1940) и в Азербайджанском государственном университете им. С. М. Кирова (1941—1949), становится деканом филологического факультета, заведующим кафедрой русской литературы университета, одновременно (1945—1948) возглавляет «Эдебийат газети» — орган Союза советских писателей Азербайджана.

С 1949 г. М. З. Джафаров — старший научный сотрудник Института литературы и языка им. Низами Академии наук Азербайджанской ССР, где руководит отделом азербайджанской советской литературы, а в дальнейшем — отделом древней и средневековой азербайджанской литературы и отделом теории литературы. В 1980 г. он становится директором Института литературы. С 1981 по 1987 г. М. З. Джафаров исполняет обязанности академика-секретаря отдела литературы, языка и искусства АН Азербайджанской ССР, а в настоящее время является советником директором Института рукописей АН Азербайджанской ССР.

С 1939 г. М. З. Джафаров становится членом Союза писателей Азербайджана. В 1944 г. он успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему: «Литературно-критические взгляды М. Ф. Ахундова», а в 1964 г. докторскую диссертацию — «Гусейн Джавид и романтизм в азербайджанской литературе начала XX века». В 1967 г. М. З. Джафаров избирается членом-корреспондентом, а в 1975 г. действительным членом Академии наук Азербайджанской ССР.

На протяжении более сорока лет своей творческой деятельности М. З. Джафаров особое внимание уделял изучению и пропаганде азербайджанской советской литературы. Он автор многочисленных статей, рецензий, критико-биографических очерков, посвященных творчеству видных предста-

вителей азербайджанской советской литературы — Джафара Джабарлы, Абдуллы Шаига, Самеда Вургуня, Мир Джалала, Мирзы Ибрагимова, Мехти Гусейна, Сулеймана Рагимова, Али Веллева, Ильяс Эфендиева и др. М. З. Джафаров принимал также активное участие в обсуждении и разработке актуальных научно-теоретических проблем азербайджанской советской критики, в частности проблем традиции и новаторства, языка и стиля художественного произведения, творческого метода социалистического реализма.

Значительную роль сыграл М. З. Джафаров и в изучении азербайджанской литературы средних веков и нового времени; перу ученого принадлежат работы, посвященные творчеству Низами, Насими, Физули, Вагифа, М. Ф. Ахундова, Г. Зардаби, Н. Нариманова, Дж. Мамедкулизаде, М. А. Сабиря и др. В своих статьях «В мире идей Низами», «Гуманизм в творчестве Низами» ученый раскрывает общечеловеческие идеалы гениального азербайджанского поэта XII в., его мечты об идеальном человеческом обществе.

В обширных работах «Физули любит» (1948) и «Физули думает» (1958) М. З. Джафаров подробно говорит об исключительном вкладе выдающегося азербайджанского поэта XVI столетия в развитие литературы и гуманистической мысли в Азербайджане и на всем Ближнем Востоке. В книге «Литературно-критические взгляды М. Ф. Ахундова» (1950) М. З. Джафаров впервые в азербайджанском литературоведении тщательно проанализировал эстетические воззрения М. Ф. Ахундова. Среди научно-исследовательских трудов М. З. Джафарова особое место занимает его фундаментальная монография, посвященная творчеству одного из основоположников азербайджанской романтической литературы начала XX в. (1960; на русском языке — 1982). В монографии прослеживается сложный и противоречивый идейно-художественный путь писателя, подчеркиваются острота и оригинальность его эстетических решений. Подробно исследуются в монографии также пьесы Г. Джавида, написанные им в первое десятилетие советской власти в Азербайджане, роль писателя в формировании азербайджанской советской литературы и театра.

М. З. Джафаров является также автором специального труда «Проблема романтизма в азербайджанской литературе (1905—1917)» (1963).

Весомый вклад внес ученый в процесс ознакомления азербайджанского читателя с творчеством крупнейших представителей русской классической и советской литературы — Д. И. Фонвизина, А. К. Радищева, И. А. Крылова, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, А. И. Герцена, А. Н. Островского, Н. Г. Чернышевского, Л. Н. Толстого, М. Горького и др. М. З. Джафаровым написан

трехтомный учебный курс «История русской литературы XIX века» (1970—1974), предназначенный для вузов республики. В книге «Из истории азербайджанско-русских литературных связей» (1966) собран не только богатый эмпирический материал, но и сделаны важные теоретические обобщения относительно взаимосвязей азербайджанской литературы XIX и начала XX в. с русской классической литературой. М. З. Джафаровым написан ряд статей и литературных портретов, посвященных виднейшим художникам мировой литературы, в частности В. Гюго, И. В. Гете, Г. Гейне, У. Уитману, Рабиндранату Тагору и др. Общественно-педагогическим проблемам посвящены книги ученого «Об эстетическом вкусе» (1965) и «Эстетическое воспитание, семья и школа» (1967).

М. З. Джафаров — один из ведущих авторов и редакторов трехтомной «Истории азербайджанской литературы» (1958—1960). Под его редакцией вышло более десяти монографических исследований азербайджанских ученых, посвященных творчеству азербайджанских писателей, а также некоторым актуальным теоретическим проблемам азербайджанской литературы. Ученым был подготовлен ряд статей для «Большой Советской Энциклопедии», «Краткой литературной энциклопедии» и «Азербайджанской Советской Энциклопедии».

М. З. Джафаров неоднократно выступал с докладами на съездах и пленумах Союза писателей Азербайджана, на всесоюзных и республиканских научных сессиях и конференциях по различным проблемам азербайджанской классической и советской литературы.

В настоящее время М. З. Джафаров является главным редактором подготовляемой Институтом литературы Академии наук Азербайджанской ССР «Истории азербайджанской литературы» в семи томах.

Значительные заслуги имеет М. З. Джафаров и в области подготовки научных и педагогических кадров; под его руководством и при его консультации защищено более тридцати кандидатских и докторских диссертаций.

На протяжении многих лет М. З. Джафаров вел также большую научно-организационную работу. Он являлся председателем республиканского научно-координационного совета по проблеме «Закономерности развития мировой литературы», главным редактором журнала «Известия Академии наук Азербайджанской ССР. Серия литературы, языка и искусства», членом редакционной коллегии «Азербайджанской Советской Энциклопедии», членом специализированных советов по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидатов и докторов филологических наук при Институте литературы им. Низами Академии наук Азербайджанской ССР.

Многолетняя научно-педагогическая деятельность ученого высоко оценена партией

и правительством. М. З. Джафаров награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета» и медалями.

В 1975 г. М. З. Джафарову была присуждена Государственная премия Азербайджанской ССР, а в 1982 г. присвоено зва-

ние «Заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР».

Многочисленные друзья, коллеги и ученики горячо поздравляют юбиляра и от души желают ему долгих лет жизни и новых свершений в его многосторонней научной деятельности.

*Н. Дж. Мамедов*

## КАБУЛ МАКСЕТОВИЧ МАКСЕТОВ

*(К 60-летию со дня рождения)*



Кабул Максетович Максетов — профессор, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Узбекской ССР и Каракалпакской АССР, лауреат премии имени Бердаха — внес значительный вклад в развитие каракалпакской филологической науки, особенно фольклористики. Его фундаментальные труды и многочисленные статьи заслужили широкое признание научной общественности в республике и за ее пределами.

К. М. Максетов родился 16 января 1929 г. в Ленинадском районе Каракалпакской АССР в крестьянской семье.

После окончания в 1953 г. Каракалпакского государственного педагогического института он был оставлен в нем в качестве преподавателя каракалпакской литературы.

Еще в студенческие годы К. М. Максетов увлекался исследовательской работой,

и одним из первых его наставников был виднейший каракалпакский литературовед Нажим Давкараев.

В 1954 г. К. М. Максетов поступил в аспирантуру Института востоковедения АН СССР и начал заниматься каракалпакским фольклором. Его консультантами были известные ученые Е. Э. Бертельс, И. С. Брагинский, А. А. Валитова и др. Именно тогда он записал у Курбанбая жырау первый вариант эпоса «Қаншайым». В журнале «Амударья» была опубликована его статья об известном каракалпакском сказителе Курбанбае Тажибаеве.

В 1958 г. К. М. Максетов успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Каракалпакский героический эпос „Қырк кыз“».

С 1957 г. ученый начал работать в Каракалпакском филиале АН Узбекской ССР, — вначале старшим научным сотрудником, а затем директором академического Института истории, языка и литературы имени Н. Давкараева. С 1985 г. по настоящее время он — профессор кафедры каракалпакской литературы Нукусского государственного университета.

Более тридцати лет К. М. Максетов участвует в фольклорных экспедициях; им собран богатейший материал высокой научной ценности. Он записал у каракалпакских народных сказителей эпические поэмы-дастаны: от Арзымбета жырау — дастаны «Алпамыс» и «Коблан», от Каражан баксы — эпос «Ашык нажеп», от Есемурата жырау — дастан «Едиге», от Отеняза жырау — эпос «Шарьяр», от Кыяса жырау — эпос «Қырк кыз», от Нарбая баксы — дастан «Даулетярбек», от Амета баксы — дастан «Юсуп и Ахмет» и др.

В 1966 г. К. М. Максетов защитил докторскую диссертацию на тему: «Поэтика каракалпакского героического эпоса», впервые исследовав художественные особенности этого жанра.

В 1969 г. ему было присвоено звание профессора по специальности «фольклористика».

Проф. К. М. Максеговым опубликовано более 250 работ, среди которых монографические исследования «Каракалпакский героический эпос „Кырк кыз“» (Нукус, 1962), «Поэтика каракалпакского героического эпоса» (Ташкент, 1965), «Народный сказитель» (Нукус, 1970), «Эстетика каракалпакского фольклора» (Нукус, 1971), «Современные народные сказители и их роль в бытовании традиционного народного эпоса» (Москва, 1973), «Фольклор и литература» (Нукус, 1975), «Каракалпакский эпос» (Ташкент, 1976), «Литература, рожденная Октябрем» (Нукус, 1979), «Каракалпакские народные сказители» (Нукус, 1983), «Взаимосвязи каракалпакской литературы с литературами братских народов» (Нукус, 1987) и др. Автор разрабатывает теорию каракалпакского фольклора, исследует его историю, роль народных сказителей в развитии фольклорных жанров, взаимосвязи каракалпакского фольклора и письменной литературы и фольклора и литератур других народов, а также проблемы современной каракалпакской литературы.

В 1977 г. под редакцией и при участии К. М. Максегова были впервые изданы в Ташкенте «Очерки по истории каракалпакского фольклора» на русском языке, где им написан раздел «Эпос».

К. М. Максегов является соавтором многотомной истории многонациональной советской литературы, изданной в Москве. Им выполнен раздел для III тома (1973) «Каракалпакская советская литература послевоенного периода».

Ученый занимается непосредственно изданием фольклорных текстов. По его инициативе были опубликованы дастаны «Бозуглан», «Курбанбек», «Горуглы», «Даулетярбек», «Алпамыс» (вариант Есемурат жырау), а также «Каракалпакские легенды и анекдоты».

Как научный руководитель, проф. К. М. Максегов активно участвует в издании двадцатитомного свода национального фольклора, восемнадцать томов которого уже вышли в свет на каракалпакском языке.

Ученым написаны статьи о творчестве дореволюционных каракалпакских народных поэтов Жиена, Бердаха, Ажинияза и др. В них он прослеживает взаимосвязи фольклора и литературы.

Член Союза писателей СССР с 1972 г., К. М. Максегов активно участвует в современном литературном процессе. Его перу принадлежат многочисленные критические статьи о творчестве писателей разных поколений.

К. М. Максегов выступает с докладами и сообщениями на международных, всесоюзных, региональных научных конференциях.

Почти все ныне работающие в республике фольклористы — ученики проф. К. М. Максегова. Становление и развитие каракалпакской фольклористики связано прежде всего с деятельностью этой школы. Ученый воспитал немало исследователей — представителей других республик — Казахстана, Киргизии, Туркмении.

К. М. Максегов много сил отдает педагогической работе. Для филологического факультета Нукусского университета он написал новый курс лекций «Каракалпакская фольклористика», составил программы по национальному фольклору. В 1979 г. в соавторстве с А. Тажмуратовым написал и издал вузовский учебник «Каракалпакский фольклор».

Научная, преподавательская и общественная деятельность К. М. Максегова отмечена рядом наград, почетными званиями.

*К. Мамбетназаров*

## НАУРУЗ ЖАПАКОВ

(К 75-летию со дня рождения)

В этом году литературная и научная общественность Каракалпакской АССР отмечают 75-летие со дня рождения известного филолога, поэта, государственного и общественного деятеля Науруза Жапакова.

Сын дехканнина, он совсем молодым, после окончания школы, стал учительствовать в начальных классах, пробовал себя и в журналистике. Его организаторские, пропагандистские способности ярко проявились в последующие годы в комсомольской, партийной работе.

В 1947—1959 гг. Н. Жапаков являлся Председателем Совета Министров Каракалпакской АССР, внес немалый личный вклад в развитие народного хозяйства республики.

Находясь на ответственном государственном посту, Н. Жапаков в течение всех этих лет продолжал заниматься исследованиями в области каракалпакской филологии.

В 1961 г. он защищает кандидатскую диссертацию на тему: «Творчество Аяпбергена Мусаева».

Работая затем в течение нескольких лет старшим научным сотрудником Института



АН УзССР, Жапаков в 1967 г. успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Истоки и становление социалистического реализма в каракалпакской литературе».

В последующие годы ученый трудился в Институте истории, языка и литературы.

Еще в конце 30-х годов Н. Жапаков увлекался собиранием каракалпакского фольклора, публиковал в периодической печати статьи, рецензии. В 1939 г. он записал от языка и литературы им. А. С. Пушкина

известного жырау Есемурата Нурабуллаева эпос «Коблан», выпущенный отдельным изданием в 1940 г. Второе и третье издания этого произведения вышли в свет в 1959 и 1981 гг. Русский перевод эпоса «Коблан», осуществленный А. Наумовым и изданный в 1988 г., выполнен с текста, записанного полвека назад Н. Жапаковым.

Ученый во многом способствовал систематизации и изданию образцов каракалпакского устного народного творчества — многолетнего труда «Каракалпакский фольклор». В настоящее время вышел в свет 18-й том этого продолжающегося издания.

Н. Жапаков написал ряд интересных монографий, посвященных дореволюционной и современной каракалпакской литературе, многочисленные статьи. Он известен как кинодраматург (первый каракалпакский киносценарий «Рыбаки Арала» написан им в соавторстве с М. Мелкумовым), поэт, автор двадцати сборников стихов и поэм, выходявших также на русском и узбекском языках.

Н. Жапаков скончался 13 марта 1975 г.

За заслуги в развитии экономики, культуры и науки Каракалпакской АССР он был награжден двумя орденами Ленина, орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями, удостоен почетных званий «Заслуженный деятель науки Каракалпакской АССР», «Заслуженный деятель науки Узбекской ССР», избирался депутатом Верховного Совета СССР, Верховных Советов Каракалпакской АССР и Узбекской ССР.

*У. Д. Доспанов*

## НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ПЕТРОВ

*(К 60-летию со дня рождения)*

Исполнилось 60 лет со дня рождения исследователя чувашского языка, доктора филологических наук, профессора Николая Петровича Петрова.

Уроженец Чувашии, крестьянин по происхождению, он получил высшее педагогическое образование, несколько лет у себя на родине учительствовал, занимался редактированием. Окончив аспирантуру при кафедре чувашского языка и литературы Чувашского педагогического института им. И. Я. Яковлева, он затем работал в секторе языка Чувашского НИИ языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР. В 1963 г. в Институте восточных языков при МГУ им. М. В. Ломоносова защитил кандидат-

скую диссертацию на тему: «Язык и стиль художественной прозы С. Фоминца».

В 1972 г. Н. П. Петров был избран доцентом кафедры чувашского языкознания Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова. В 1982 г. он защитил докторскую диссертацию на тему: «Функциональное развитие и нормализация чувашского литературного языка в советскую эпоху». В 1983 г. Н. П. Петров стал профессором.

Научные интересы Н. П. Петрова сконцентрированы главным образом вокруг проблем истории чувашской письменности и литературного языка. С его именем связано становление этого направления чувашского языкознания. Наряду с много-



численными статьями он опубликовал две работы, посвященные непосредственно этой проблематике, — «Чувашская письменность» (1971) и «История чувашского литературного языка. Дояковлевский период» (1978).

В первой своей книге ученый прослеживает пути развития старой и возникновения новой чувашской письменности, освещает ее роль в советское время. Во второй работе он на обширном фактическом материале исследует историю чувашского литературного языка дояковлевского периода, т. е. второй половины XVIII в. На материале чувашского языка автор глубоко раскрывает такие лингвистические понятия, как «общенародный язык», «национальный язык», «диалект», «жаргон», «разговорный язык» и другие, устанавливает отличия языка художественной литературы от общелитературного. Интересны рассуждения ученого о понятиях «норма», «система», «речь», «кодификация». Исследователь аргументированно доказывает, что применительно к чувашскому языку основным условием развития литературного языка является письменность, именно она способствует выработке норм литературной речи.

Н. П. Петров в своем исследовании «История чувашского литературного языка» на основе анализа большого фактического материала приходит к выводу, что язык художественной литературы является основой литературного (книжного) языка. В частности, автор предполагает, что истоки чувашской письменности следует искать в глубокой древности. Названная книга ценна еще и тем, что содержит особый раздел, посвященный рассмотрению источников XVIII в., в научный обиход

включаются ранее неизвестные памятники старочувашской письменности.

В своем исследовании, посвященном истории чувашского литературного языка, автор делает важные выводы о том, что чувашский литературный язык изначально питают три животворных источника: устное поэтическое творчество, живая разговорная речь, русская литература.

Теоретические положения, выдвинутые в предыдущих работах, Н. П. Петров развивает в монографии «Чувашская терминология» (1979), где ставит и решает важные вопросы: терминология и ее место в системе литературного языка, основные этапы становления и развития чувашской терминологии, формирование и нормализация отраслевых терминологий и их отражение в терминологических словарях.

Идеи, выводы ученого о чувашском литературном языке и письменности дальнейшего развития получили в его фундаментальном исследовании «Чувашский язык в советскую эпоху» (1980).

Вопросы теории чувашского литературного языка рассмотрены в плане развития его социальных функций и литературных норм.

Н. П. Петров много труда вложил в развитие чувашской лексикографии. Он является одним из составителей и соредактором «Чувашско-русского словаря» (М., 1964), «Русско-чувашского словаря» (М., 1971), автором «Русско-чувашского словаря технических терминов» (Чебоксары, 1971), «Чувашско-болгарского учебного словаря», участвовал в составлении большого «Чувашско-русского словаря» (1982).

Профессор кафедры чувашского языкознания университета, он большое внимание уделяет созданию учебно-методических пособий для студентов. Им разработаны общетеоретический курс «История чувашского литературного языка», спецкурсы «Лингвистический анализ художественного текста» и «Лингвистические проблемы чувашской терминологии», им созданы учебные пособия для студентов и учащихся средних школ.

Н. П. Петров не только неутомимый труженик науки, но и активный общественник, он бессменный член Чувашской орфографической комиссии, терминологической комиссии и Учебно-методического совета при Министерстве народного образования Чувашской АССР. Он воспитал немало учеников, с успехом читал курс чувашского языка в Софийском университете по приглашению болгарских коллег.

Поздравляя талантливого ученого, педагога, чуткого наставника Николая Петровича Петрова с юбилеем, его коллеги, ученики, друзья желают ему доброго здоровья, новых творческих свершений.

*Л. П. Сергеев, М. Ф. Чернов*

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ФОЛЬКЛОР. ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА

- З. Г. Османова (Москва). О некоторых закономерностях формирования литератур нового типа в предоктябрьской России . . . . . 3
- И. Б. Молдобаев (Фрунзе). Эпос «Манас» как историко-этнографический источник . . . . . 17
- А. А. Газизова (Москва). Роль памяти в идейно-художественной структуре повестей Ч. Айтматова . . . . . 24
- В. Е. Войтов (Москва). Онгиинский памятник. Проблемы культуроведческой интерпретации . . . . . 34

ОНОМАСТИКА

- Ш. М. Саадиев (Баку). Категориальная дифференциация азербайджанских антропонимов . . . . . 51
- Г. Ф. Саттаров (Казань). Башкиризмы в топонимии Татарии . . . . . 61
- Ф. Гарипова (Казань). Топонимические названия Среднего Поволжья, восходящие к болгарскому периоду . . . . . 68
- И. Н. Шервашидзе (Москва). Еще раз об этимологии имен Ašina и Attila—Авитохоль . . . . . 79

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

- Х. Исмаилов (Москва). Абдулхамид Чулпан—как переводчик . . . . . 82
- Г. М.-Р. Оразаев (Махачкала). Арабографичные источники XVII—начала XX в. по истории кумыкского языка . . . . . 90

НАСЛЕДИЕ

- Г. Ф. Благова, Е. А. Поцелуевский (Москва). Владимир Михайлович Насилов . . . . . 97
- В. М. Насилов (Ленинград). Наблюдения над образованием производственных терминов узбекского и таджикского языков в условиях фабричной техники . . . . . 99

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

- М. А. Бородина (Ленинград). Атлас и текст . . . . . 110

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

- М. М. Мусаев (Баку). Н. Нартыев. Строй сложного предложения в современном туркменском языке . . . . . 113
- К. Галиуллин (Казань). Татарско-русский словарь . . . . . 114

<i>А. Г. Агаев</i> (Баку). Бајрам Өмәдов. Азәрбајчан дили шивәләриндә сөз јара- дычылығы . . . . .	116
<i>Р. Х. Халикова</i> (Казань). Творчество Ризы Фахретдинова . . . . .	117

## PERSONALIA

<i>Н. Дж. Мамедов</i> (Баку). Мамед Джафар Зейналабдин оглы Джафаров . . . . .	120
<i>К. Мамбетназаров</i> (Нукус). Кабул Максетович Максетов . . . . .	122
<i>У. Д. Доспанов</i> (Нукус). Науруз Жапаков . . . . .	123
<i>Л. П. Сергеев, М. Ф. Чернов</i> (Чебоксары). Николай Петрович Петров . . . . .	124

## CONTENTS

## FOLKLORE. LITERATURE. CULTURE

<i>Z. G. Osmanova</i> (Moscow). On some formation normalities of the new type literatures in the pre-revolutionary Russia . . . . .	3
<i>I. B. Moldobaev</i> (Frunze). «Манас»—as historical-ethnographic source . . . . .	17
<i>A. A. Gazizova</i> (Moscow). The role of memory in the ideological structure of the stories by Ch. Aytmatov . . . . .	24
<i>V. Ye. Voytov</i> (Moscow). Onghin monument. Problems of its historico-cultural interpretation . . . . .	34

## ONOMASTICS

<i>Sh. M. Saadiyev</i> (Baku). Categorical differentiation of Azerbaijan personal names . . . . .	51
<i>G. F. Sattarov</i> (Kazan). Bashkirisms in the Tatar toponimy . . . . .	61
<i>F. Garipova</i> (Kazan). Toponymic names of the Middle Volga region referring to the Bulgar period . . . . .	68
<i>I. N. Shervashidze</i> (Moscow). Once more about etymology of names Aşina and Attila . . . . .	79

## MATERIALS AND REPORTS

<i>Kh. Ismailov</i> (Moscow). Abdulkhamid Chulpan as an interpreter . . . . .	82
<i>G. M.-R. Orazayev</i> (Makhachkala). The sources of the Kumyk language history, written in the Arabic script (XVII—XX cc.) . . . . .	90

## INHERITANCE

<i>G. F. Blagova, Ye. A. Potseluyevsky</i> (Moscow). Vladimir Mikhailovich Nasilov . . . . .	97
<i>V. M. Nasilov</i> (Leningrad). Observation of the industrial terms formation in the Uzbek and Tajik languages in the conditions of the factory machinery . . . . .	99

## A LETTER TO THE EDITORIAL STAFF

<i>M. A. Borodina</i> (Leningrad). Atlas and text . . . . .	110
---	-----

## CRITICISM AND BIBLIOGRAPHY

## REVIEWS

M. M. Musayev (Baku). Н. Нартыев Строй сложного предложения в современном туркменском языке . . . . .	113
K. Galiullin (Kazan). Татарско-русский словарь . . . . .	114
A. G. Agayev (Baku). Байрам Әһмәдов. Азәрбајҹан дили шивәләринадә сөз јарадычылыгы . . . . .	116
R. Kh. Khalikova (Kazan). Творчество Ризы Фахретдинова . . . . .	117

## PERSONALIA

N. J. Mamedov (Baku). Mamed Jafar Zeinalahdin ogly Jafarov . . . . .	120
K. Mambetnazarov (Nukus). Kabul Maksetovich Maksetov . . . . .	122
U. D. Dospanov (Nukus). Nauruz Zhapakov . . . . .	123
L. P. Sergeyev, M. F. Chernov (Cheboksary). Nikolay Petrovich Petrov . . . . .	124

© «Советская тюркология», 1989 г.

Технический редактор Б. М. Абдуллаев

Корректоры: А. А. Гусейнова, С. Дж. Эфендиева

Сдано в набор 20.04.89 г. Подписано к печати 20.06.89 г. ФГ 17402. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub> Бум. л. 3,5. Физ. печ. л. 11,2. Уч. изд. л. 10,4.  
Заказ 4037. Тираж 2210. Цена 1 руб. 10 к.

Типография издательства «Коммунист», Метбуат проспекти, 529 квартал.

Индекс 70927

1 р. 10 к.

23/5-142